

А. С. ДОЛИНИН

В ТВОРЧЕСКОЙ
ЛАБОРАТОРИИ
ДОСТОЕВСКОГО

1 9 4 7

советский писатель

А.С. ДОЛНИН

В ТВОРЧЕСКОЙ
ЛАБОРАТОРИИ
ДОСТОЕВСКОГО

(ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
РОМАНА «ПОДРОСТОК»)

советский писатель

1 9 4 7

По количеству и качеству черновых записей, дающих возможность исследовать ход работы писателя над романом, — от его первоначального замысла и первоначальных планов до окончательной его редакции, — «Подросток» находится в положении наиболее благоприятном. «Преступление и наказание»,¹ «Бесы»,² «Братья Карамазовы»³ почти вовсе лишены записей, относящихся к первой стадии работы художника — стадии формирования основных сюжетных линий, по выражению Достоевского, «выдумывания планов».

В «Братьях Карамазовых» к ряду книг имеются лишь отдельные разрозненные наброски или преобладают записи, близкие уже к печатной редакции. Где-то, в материалах, для нас недоступных, а может быть, и навсегда утерянных, запечатлелась самая трудная, самая мучительная для Достоевского работа — первоначального формирования образов, отбора доминирующих психологических черт героев в зависимости от воплощенных в них идей.

С «Преступлением и наказанием» дело обстоит еще хуже: мы имеем, в сущности, только два крупных варианта в связной уже редакции, соответствующих первой и второй главам первой части романа и первым четырем главам второй части. Для нас исчезли записи к самым центральным моментам романа. Нет у нас никаких следов и процесса срастания сюжета романа «Пьяньские»⁴ с сюжетом

«Повести об интеллигентном преступнике»: превращение Раскольникова в главного героя, всё вокруг себя объединяющего.

Полнее представлены записи к «Бесам»,⁵ но и в них пробелы весьма значительные. Они обнаруживаются наиболее ясно, если отнять все то, что к роману не относится: денежные счета, личные заметки семейного и бытового характера, наброски к «Дневнику писателя», планы к «Житию великого грешника», к повести о Картузове и т. п.

В «Идиоте»⁶ полно освещена лишь первая стадия работы над сюжетными планами к первой, замужней редакции, но нет совершенно записей к первой части романа второй редакции, и очень скупо представлены промежуточные стадии работы после того, когда характеры уже определены и начинаются попытки связной редакции.

Только материалы к «Подростку» обладают той полнотой, которая дает нам возможность следить шаг за шагом за всеми этапами творческой работы писателя: как* замысел у него впервые зарождается, как связан этот замысел с образами предыдущих его произведений и как замысел начинает постепенно осложняться в зависимости от фактов и событий недалекого прошлого или фактов и событий, совершающихся сейчас в окружающей действительности, русской и западно-европейской. Мелькает множество лиц, едва-едва намеченных, плетутся интриги самые фантастические: о детях, о целой ораве детей и их воспитателях, об изменах, убийствах, обольщениях, о страдающих матерях и гибнущих девушках. И среди них какой-то «хищный тип» и братья его, соперники, вызывающие его на дуэль. Воображение художника неудержимо работает по самым отдаленным ассоциациям, пока не начинают выделяться какие-то образы с более определенными чертами, соответственно уже намечающимся каким-то идеям: будущие герои романа.

И тут же различные литературные отклики: «Дон-Кихоту» Сервантеса, «Жиль Блазу» Лесажа, «Войне и Миру» и «Анне Карениной» Толстого, «Исповеди» Руссо, Вальтер Скотту, Диккенсу, Некрасову и т. д. — вплоть до второстепенного исторического романиста Евгения Салиаса.

* Здесь и в дальнейшем курсив автора.

Эти отклики возникают в связи не только с строящимся сюжетом, но и с формой романа в целом. Проза Пушкина, «Повести Белкина» в частности, останавливает внимание писателя. «Писать как Пушкин», «подражать Повестям Белкина, чтоб было так же сжато», «писать à la Пушкин» — это композиционный стилистический идеал, который Достоевский ставит перед собой, в особенности в первой стадии работы.

Но вот уже несколько проявились будущие центральные герои, и начинаются размышления над самой формой романа, колебания относительно того, кому из намеченных персонажей быть главным — Ему (с большой буквы), т. е. будущему Версиллову, или искателю «благообразия», не то брату, не то сыну Версилова, т. е. Подростку. «От Я! От Я» — записки от имени Подростка: устанавливается принцип как будто твердо. И вдруг сомнение: может ли Подросток, по юному возрасту своему, осмыслить те философские идеи, носителем которых должен быть Он, Версиллов? Смущает художника и то, что, в смысле эффектности событий, роль Версилова, при всех вариациях, всё же оказывается наиболее яркой.

Сомнения наконец разрешаются, форма «от Я» побеждает. Усиливается работа над персонажами второстепенными: Ахмакова, старый и молодой Сокольские, шантажист Ламберт, долгушинец Васин, самоубийца Крафт становятся по своей роли всё более и более похожими на лиц в законченном романе.

Почти пятая часть записей уходит на эту работу, пока вместе с формой «от Я» устанавливается уж окончательно и сюжетный стержень, приближающийся к печатной редакции. А затем начинаются вариации к отдельным частям и главам романа — композиционно-идеологического и стилистического характера; они тоже отличаются полнотой, отражают наиболее существенные искания автора.

Так широко открывается перед нами доступ в творческую лабораторию писателя в тот период, когда он снова во власти своих больших колебаний, оказавшихся вдруг далеко не законченными, своих старых внутренних противоречий. Именно в «Подростке» обнаруживается то, что Достоевский снова стоит перед каким-то поворотным пунктом; те самые, юношеские, восходящие к эпохе 40-х годов, идеалы, с которыми велась такая страстная борьба в пред-

шествующих «Бесах» и с которыми, казалось, покончено навсегда, вновь привлекли к себе его пристальное внимание: целиком ли они были и целиком ли *должны* быть отвергнуты? Не может же быть, что всё в них ложь.

Не в «Русском вестнике» Каткова и не в либеральном «Вестнике Европы» Стасюлевича печатался «Подросток», а в «Отечественных записках» Салтыкова-Щедрина и Некрасова. И критика радикальная, в лице Ткачева и Скабичевского, поставила автора романа на высоту первоклассного писателя, назвав некоторые сцены его гениальными. Было потрачено автором много труда, чтобы в окончательной редакции эти колебания, эти внутренние противоречия были сглажены, и читатель обычно их не замечает. Черновые записки здесь исключительно ценны.

Озирается Достоевский на весь свой пройденный путь. «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» — что осталось оттуда решенным и нерешенным? Какие образы нуждаются в дальнейшем раскрытии? — И новые задачи, новые образы, новые линии. Так делается попытка в работе над «Подростком» подвести как бы итог всем предыдущим произведениям, и в то же время уже ясны те веки, которые ведут к последующим «Карамазовым» и к «Речи о Пушкине». В плане идеологическом это все те же мысли, занимавшие Достоевского во всю его жизнь: о великом назначении русского народа, об исторической его миссии в грядущих судьбах европейского человечества, о Востоке и Западе, о взаимоотношении личности и общества в современном разлагающемся буржуазном строе и в будущем строе человечества.

Все эти вопросы общечеловеческого значения поставлены здесь, в «Подростке», в глубочайшей, органической связи с комплексом целого ряда идей и образов, созданных нашими классиками в области философской мысли и художественного творчества. И как это всегда у Достоевского — и что особенно ценно — под ними ясно ощущается, как «Хаос шевелится». Широчайшие социальные проблемы «сегодняшнего дня» на русской почве, факты и события, в которых особенно явно обнаружилось то, что в России после освобождения крестьян наступил новый исторический этап: окончательное разложение, экономическое и моральное, дворянства, растущая власть «золотого мешка», хищнической буржуазии, «хождение в народ», — вся эта

встревоженная, волнующаяся жизнь находит свое яркое отражение в романе, является, в сущности, основой его сюжета. Так Достоевский всегда мыслил взаимоотношение искусства к действительности: художник тот, кто «в силах и имеет глаз», умеет видеть и находить в фактах действительной жизни их глубину, их сокровенный смысл, ход истории.

Показать, хотя бы только в основных чертах, всю сложность его метода, всю противоречивость его идеологии, а которой сочеталась с одной стороны — устремленность к будущему, к такому обществу, где человек был бы счастлив и совершенен, а с другой — реакционная борьба с людьми революции, глумление над ними, несмотря на то, что только они одни и могут осуществить желанный ему идеал, — такова задача этой книги. Разумеется, мы, люди с советской идеологией, систему воззрений Достоевского философского и общественно-политического направления в корне отвергаем: противником революционных методов борьбы за лучшее будущее человечества остается он и в этом романе, как во всех других произведениях второго периода его творчества, начиная с журнала «Эпоха» и «Записок из подполья».

II

В первом номере «Дневника писателя» за 1876 г., составлявшемся в декабре 1875 г. еще до окончания печатания «Подростка»,⁷ Достоевский пишет по поводу романа следующее: «Когда полтора года назад Николай Алексеевич Некрасов приглашал меня написать роман для «Отечественных Записок», я чуть было не начал тогда моих «Отцов и детей», но удержался и слава богу: я был не готов. А пока я написал лишь «Подростка», — эту первую пробу моей мысли. Но тут дитя уже вышло из детства и появилось лишь неготовым человеком, робко и дерзко желающим поскорее ступить свой первый шаг в жизни».⁸ «Подросток», таким образом, по свидетельству автора, является лишь частичным исполнением темы об «отцах и детях», о которой там же в «Дневнике», несколькими строками выше, сказано: «Я давно уже поставил себе идеалом написать роман о русских теперешних детях, ну и конечно о теперешних их отцах, в теперешнем взаимном

их отношении». Не подлежит сомнению, под «давно» — надо разуместь неосуществленную поэму «Житие великого грешника», замысел которой относится еще к 1869 г.* Так Достоевский и пишет дальше: «Поэма готова и создавалась прежде всего, как и всегда должно быть, у романиста».

Поэма была уже готова; не то, что должна была еще создаваться, а уже создавалась. Разрабатывались уже подробные планы. «Бессами» тема «Жития» была отгеснена лишь на время,¹⁰ и теперь, в самом начале 1874 г., как только было покончено с работой в журнале «Гражданин», уже в конце 1873 г. ставшей особенно тягостной, и воображение писателя вновь освободилось для творчества художественного, тема эта воскресла. Убеждает в этом следующая параллель. В «Житии», кроме великого грешника, пока еще ребенка 11 лет, должны были действовать и другие дети, честные и преступные: хроменькая Катя, Умнов, Альберт или Lambert, Аркашка. «Дети покидают семью, становятся уличными». Кроме детей, имеется там какая-то «святая мать, идеальное и странное создание». О будущем великом грешнике, который должен в конце стать «бойцом за правду», говорится, что он незаконнорожденный: «У отца его — не братья. Ему дают знать». Какой-то там учитель; часть действия происходит в пансионе Чермака; там матушкины дети, их «гадливость» — очевидно, к нему, незаконнорожденному. Читаются произведения писателей: Вальтер Скотта, Гоголя, «Герой нашего времени», — особенно часто упоминается Гоголь. — и «эффект этих чтений»...¹¹

И вот первые записи к «Подростку» на первой же странице:

«Школьный Учитель, роман (описание эффекта чтений Гоголя, «Тараса Бульбы»)».

«Дети, Мать, вышедшая вторично замуж. Группа сирот. Сведенные дети. Боец за правду. Смерть замученной матери. Протест детей. Бежать? Идут на улицу. Боец один. Странствия».

И следующая запись: «Роман о детях, единственно о детях и о герое ребенка (Избавляют одного страдающего ребенка, хитрости и проч.). Нашли подкинутого младенца».

Мы видим почти полное совпадение действующих лиц, мотивов и ситуаций, и также на первом плане герой — ребенок, которому вскоре будет дано имя откуда же, из

«Жития» (Аркашка — Аркадий), и рядом с ним его соблазнитель из «Жития» же — «Ламберт». Эгих параллелей («Житием» будет дальше в черновиках очень много. Однако уже здесь, с самого начала, обращает на себя внимание первое осложнение, в связи с введением в план темы о школьном учителе. В «Житии» учитель только раз упоминается в сочетании со словом «пьяный»; там его место было бы, очевидно, среди развратных Альфонских и «пьяных старичков», а здесь учитель сразу появляется как образ в высшей степени идеальный, «положительно прекрасный человек», и таким он остается на протяжении многих страниц. Его сюжетные функции будут потом переданы именно тому, кто явится главным выразителем авторской идеологии: разумеется странника Макара Долгорукого.

Он, этот учитель, — «любитель детей». И не только любитель, — он уважает их и обращается с ними, как с равными. «Обращаясь к детям, по исполнении их поручений, говорит: «Господа, я ваши дела исполнил и спешу дать вам отчет». Или: «Господа, я прочел такую-то книгу», и вдруг рассказывает им о Шиллере, или о чем-нибудь политическом».

«...Сам взрослый ребенок и лишь проникнут сильнейшим живым страдальческим чувством любви к детям».

Это своеобразный отклик на ту страстную полемику, которая велась тогда в русской периодической печати вокруг новых педагогических идей Льва Толстого в связи с его знаменитой «Азбукой», изданной в 1872 г., в частности — с его выступлением в защиту своего метода 15 января 1874 г. на заседании Московского комитета грамотности. Про эти толстовские идеи Н. К. Михайловский отозвался в свое время, что они «проникнуты бурным и глубоким демократизмом, культом народа». ¹² Достоевский их осложняет. Передовая педагогика идеального учителя сочетается у него с современными социальными идеями не только в плане русском, но и общечеловеческом: учитель тут же представлен как убежденный противник существующего строя, фанатически верующий в возрождение человечества. Вносится, таким образом, уже сейчас, среди самых первых набросков плана, некий идеологический момент из сферы наиболее волнующих вопросов дня в эпоху 70-х годов — момент, для Достоевского с самого начала уже связанный именно с идеями отрицания буржуазного общества.

И это, конечно, следствие одного из тех впечатлений, про которые в черновиках, несколькими страницами дальше, сказано: «Чтоб написать роман, надо запастись прежде всего одним или несколькими сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора действительно. В этом дело поэта».

Сердцем автора было очень сильно пережито впечатление от французской коммуны 1871 г., трагический конец которой воспринят им двойственно: как противник революционных методов борьбы, он в поражении Коммуны видел подтверждение своих взглядов, и в то же время был глубоко опечален тем, что опыт построения «хрустального царства на земле», стоивший таких колоссальных жертв, не удался. В печатном тексте тема Парижской коммуны («сожжение Тюильри») нашла свое отражение в «Исповеди» Версилова.¹³ «О, не беспокойся, — говорит он Подростку, — я знаю, что это было «логично», и слишком понимаю неотразимость текущей идеи; как носитель высшей русской культурной мысли, только я один, между всеми петролейщиками, мог сказать им в глаза, что их Тюильри — ошибка, и только я один, между всеми консерваторами и отомстителями, мог сказать отомстителям, что и Тюильри кость и преступление, но все же логика».

Это почти то же двойственное, «сверхлогическое» восприятие «страшного года», Парижской коммуны, которое мы находим в вышедшем в этом же 1874 г. последнем романе Виктора Гюго: «Девяносто третий год». В черновиках, несколько дальше, роман этот прямо назван в связи с революционным кружком долгушинцев, которые спорят о судьбах мира в свете идей Парижской коммуны. Идеалист в философии, пацифист, утопист в политике, ставивший своей задачей «дополнить великое правдой и правду великим», Гюго видит в исторических лицах и исторических событиях всегда «категории добра и зла», символы «движения от зла к добру», «от тени к свету», в данном произведении — «от монархии через республику террора к республике милосердия». У него Симудрэн, носитель идеи революции, с ее «логикой, режущей как нож гильотины», — односторонность. Так же односторонен и Лантенак, носитель идеи феодализма, консерватор, отомститель. Единственно прав Говэн, возвышающийся над обоими носителями частных идей, выразитель идеи автора, идеи гуманности. «Лантенак и Симудрэн — антитеза: у них

обоих в ужасающих действиях (страшные язвы, муки ня в чем неповинных детей, истребление искусств, библиотек) — железная последовательность логически развивающейся идеи: прошлого или настоящего. Говэн — синтез, идея будущего, «свет, рождающийся из хаоса». С этой же точки зрения, как казалось Достоевскому, высшей гуманистичности пытается и он смотреть на события 1871 г. Так, версильской теме «Сожжение Тюильри» уделяется в черновиках исключительное внимание, и почти всегда в этом «сверхлогическом» аспекте Говэна.

Уже здесь, на первой странице, между первой же записью о детях и записью об идеальном учителе, имеется такой набросок: «Фантастическая поэма-роман. Будущее общество, коммуна, восстание в Париже, победа, 200 миллионов голов, страшные язвы, разврат, истребление искусства, библиотек, замученный ребенок. Споры, беззаконие. Смерть». И следующая запись: «Застрелившийся и бес в роде Фауста. Можно соединить с поэмой-романом». Кто-то из тех, кто обладает особенно чуткой совестью, из идейных фанатиков, не выдерживает, должно быть, краха асей европейской культуры, разубеждается в своей вере и погибает. В печатном тексте мы находим этому далекое отражение в идейном самоубийстве Крафта. Это про таких, как Крафт, сказано в черновиках: «Человек, в высоких экземплярах своих и в высших проявлениях своих, ничего не делает просто: он и застреливается не просто, а религиозно, т. е. фанатически идейно». Может быть, то, что рядом с застрелившимся стоит «бес в роде Фауста», — есть самый первый момент зарождения образа Версильова: в черновиках Версильов, скептик и циник, долго сопоставляет себя, свою «подлую живучесть», с идейным фанатизмом Крафта, который не может мириться с третьестепенной ролью России в истории всего человечества и застреливается.

III

Мысль о фантастической поэме-романе лишь промелькнула, как и тема об идеальном учителе. План о детях тоже пока еще в зародыше. Так обстояло дело в феврале 1874 г.

Но вот художник начинает искать факты из окружающей действительности, которые могли бы лечь в основу фабулы вокруг одной из названных тем, а может быть,

всех, в ней, в этой же фабуле, объединенных. Он ищет факты, по обыкновению, наиболее разительные, и прежде всего обращается к уголовной хронике: в резких отклонениях от общеустановленных человеческих норм, в «исключениях» скорее улавливается смысл, идея нарастающих в общественной жизни изменений. — Таково было постоянное убеждение Достоевского. Следует после всех приведенных выше набросков такая запись: «Московские Ведомости» 26 февраля 74, из Бахмута о жене-пристяжной». По этой-то записи мы и датируем все предшествующие наброски февралем 1874 г.

Крестьянка села Андреевки, сильно терпевшая от побоев мужа и свекрови, убежала домой к матери. Мать не приняла ее, и она ушла к подруге верст за 15. В новом месте сельское начальство потребовало от нее вида на жительство, и так как вида не оказалось, начальство запросило старосту села Андреевки, отпущена ли она мужем добровольно. Вместо ответа от старосты приехал за ней сам муж с двумя товарищами. Они забрали ее от подруги насильно и сейчас же поехали обратно. Уже по дороге началось дикое истязание. Жену привязали веревками к оглобле и стали шибко погонять лошадь. Женщина падала, изнемогая, поднималась и снова бежала, подстегиваемая кнутом. Доехали так до кабака, отдохнули, выпили и снова отправились в путь. Отъехав от кабака с версту, опять запрягли, как пристяжную, иссеченную бабу, опять она падала, задыхаясь; ее поднимали, били, погоняя кнутом. И так всю дорогу до самого села. В дальнейших черновых записях это «бахмутское» истязание нигде не использовано, если не предположить, что к нему восходит, по изощренной жестокости самого характера мучительства, несколько случайных набросков о некоем швейцаре или Швейцарове, сжегшем на плите свою гулящую жену.

Дальше автор снова обращается к теме, восходящей к «Житию великого грешника», к теме о «детях». Идет целый ряд таких записей:

«Заговор детей составить свою д е т с к у ю и м п е р и ю.
Споры детей о республике и монархии».

«Дети заводят сношения с детьми-преступниками в тюремном замке».

«Дети — поджигатели и губители поездов».

«Дети — развратники и атеисты».

Тут впервые появляется Ламберт, перенесенный сюда из

«Дития» с той же ролью: кощунствующего и развратного мальчика. И рядом с ним M-me Andrieux. В окончательном тексте она лишь вскользь упоминается в воплях Альфонсины, содержанки Ламберта; в черновиках же она будет в дальнейшем встречаться довольно часто в связи не то с Подростком, не то со старым князем Сокольским, с которым ее сводит тот же Ламберт.

Следует опять обращение к газете за фактами из уголовной хроники: «Дети — убийцы отца (Московские Ведомости № 89, 12 апреля)». Это вторая дата, по которой мы устанавливаем ход работы; работа идет еще очень, очень медленно. Прошло с той записи о «жене-пристязной» около полутора месяцев; но, очевидно, пока еще нет никакого более или менее твердого сюжетного замысла.

Убийцами отца оказались мальчики возрастом от 8 до 10 лет. Действие происходит в местечке Зехсгауз, возле Вены. У столера Антона Лейснера сбежала жена вместе со старшим сыном 13 лет, оставив 4 детей, из которых самому младшему не было еще года. Покинутые дети страстно любили мать и очень по ней скучали. Они обвиняли во всем отца и решили его убить для того, чтобы опять соединиться с матерью. План убийства был задуман восьмилетним мальчиком; он сообщил его братьям, и братья одобрили план. Орудием убийства должны были служить две стамески: одна, чтобы перерезать отцу горло, другая, чтобы проткнуть насквозь живот. Убийство дети решили совершить над спящим в ночь с 5 на 6 марта. И вот роли уже распределены. Один будет стоять на страже, дожидаться, пока отец крепко заснет; двое других нападут, одновременно начнут резать и колоть. Но плакало всю ночь дитя годовалое, отец вставал к нему и не засыпал. Отец заснул наконец часов в 7 утра. Тогда дети стали тихо-тихо подкрадываться; вот они уже подошли к его кровати, уже занесли над отцом свое орудие, острая стамеска приставлена к горлу, еще одно мгновение — и страшное совершится. И вдруг опять заплакало дитя, отец снова проснулся.

Потому ли, что факт этот уж слишком исключительный и был бы воспринят как плод «больной фантазии», или потому, что произошел он не в России, — основной сюжетной он не сделался даже и на время.

И вот подводится черта, как бы итог всем этим случайным поискам: что же все-таки могло бы остаться и быть

использовано в дальнейшем? Боец за правду — центральная фигура из «Жития». И нужно запомнить и поставить рядом с ним — для идейного контраста — уже дважды мелькнувший в записях образ кого-то застрелившегося. Идет такая запись:

«МОМЕНТ. Быстрая встреча молодого человека (идеал борьбы) с прежним товарищем, решившимся застрелиться. День с ним. Тот застреливается». В окончательном тексте Подросток проведет с Крафтом всего несколько часов, — самоубийство совершится в отсутствие Подростка, но впечатление будет колоссальное.

Но ведь это только момент. И лишь в записях о сведенных детях, о детях — развратниках, атеистах (среди них Ламберт), о матери, вышедшей вторично замуж, и смерти измученной матери, — только здесь есть некое движение, как будто уже начало сюжетной динамики. Нужен стержень: чьи эти сведенные дети? За кого это мать вышла вторично замуж, и кто ее мучитель? Какая-то удушливая атмосфера преступности и жестоких детских страданий, и мерещится в ней некий «бес в роде Фауста», циник и скептик. Мы накануне появления центрального героя, который должен стать главной движущей силой сюжета.

Приблизительно в конце апреля или в самом начале мая была сделана следующая запись:

«Хищный тип (разбор кн. Данилы Авсеенком). Почему дурак князь имеет право на мое внимание? Сопоставление у Авсеенко простого честолюбца, который бы непременно вернулся в Петербург к празднику, с князем Данилом, который, напротив, не вернулся по необузданности натуры своей, ибо страстен, женился на Милуше и хочет быть в страсти свободным. А потом хнычет, зачем не вернулся. Это потому, что он главное — дурак. Настоящий хищный и на Милуше женился бы всецело и вернулся бы. Было бы безнравственно, но у полнейшего хищника было бы даже и раскаяние и все-таки продолжение всех грехов и страстей.

Не понимают они хищного типа».

И дальше вдруг, точно какое-то внезапное озарение: «...иметь в виду настоящий хищный тип в моем романе 1875 года. Это будет уже настоящий героический тип, выше публики и ее живой жизни, а потому понравится он обязательно. (А князю Даниле, например, нечем нравиться)».

Так намечается герой будущего романа как резкое противоположение какому-то чужому образу, возникает именно по контрасту; не дурак Данила, а истинный хищный тип, т. е. *европейский*, с точки зрения «почвенников», у нас возможный только среди порвавшей с народом интеллигенции.

Толчок к появлению чаемого героя как бы совершенно случайный: речь идет о рецензии Авсеенко на исторический роман Евгения Салюса «Пугачевцы», напечатанный в апрельской книжке «Русского вестника» за 1874 г. Авсеенко в восторге от романа, ставит его на один уровень с «Войной и миром» Толстого. Восхищается Авсеенко особенно образом князя Данилы: «гордого, бешеного, своенравного, смелого и умного». Восемнадцати лет этот Данила был отвезен отцом в Петербург и поручен покровительству графа Румянцева. Данила делает быструю карьеру: Екатерина II «обратила на него милостивое внимание», и он часто бывает во дворце. Но вскоре Данила проявляет самовольство: за какое-то оскорбление застрелил одного офицера и обидел какого-то вельможу; его арестуют и ссылают в деревню к отцу, с приказанием, однако, к тезоименитству государыни быть безотлагательно в Петербурге. В деревне князь Данила еще больше дает волю своему бешеному нраву. «Умный, непреклонный и отважный, он самоуверенно глядит вперед. Начинается мятеж (разумеется, Пугачевское восстание). Он вспоминает свой долг дворянина. Соблазны петербургской карьеры на время забываются». И тут происходит его встреча с Милушей. Милушу Авсеенко характеризует так: «Она — дичок, натура простая, но глубокая, полюбит навеки. Неотразимая прелесть ее наивности и женственности привораживает князя Данилу. Правда, — продолжает дальше рецензент, — Данила вспоминает, будто его подвинуло жениться то обстоятельство, что Милуша была невестой другого — князя Андрея Уздальского. Этому можно поверить: некоторый хищнический инстинкт сказывается в Даниле даже в минуты полного опьянения страстью. . .». Но опьяненный счастьем и еще влюбленный в свою добычу, Данила уже чувствует однакож на дне души своей незримого червя. Его гложет и сушит мысль, что отныне жизнь его очертилась узким кругом, что память о нем сохранится только для детей и внуков. «Да что проку в их памяти, что ветер пролетный. Я бы хотел, чтобы меня вся русская земля

через сто лет поминала: вот как Румянцова помянет, Орлова. Один Задунайский, другой Чесменский. А я какой? Я — Милушин. А я мог бы. . . И огонь в себе чую. . . И случай в руки лез. Да и теперь еще, вернись в Питер. . . Многое на перемену пойдет. Да видно не судьба».

«*Не понимают они хищного типа*», — писал Достоевский, — ни Салиас, ни Авсеенко. Князь Данила слишком слаб для хищного типа. Вот какой он должен быть, читаем мы дальше:

«Хищный тип (1875 года). Страстность и огромная широкость. Самая подлая грубость с самым утонченным великодушием. И между тем, тем и силен этот характер, что эту бесконечную широкость преудобно выносит, так что ищет груза и не находит. И обаятелен и отвратителен».

«*Думать об этом типе. 4 мая 1874 г.*» — записано очень крупным почерком несколько в стороне от предыдущей записи.

4 мая 1874 г. возник впервые образ будущего Версикова. С этого дня и начинается уже настоящая работа над планами.

Оттолкнувшись от образа князя Данилы Салнаса, начинает Достоевский строение характера центрального героя своего будущего романа. Но тут он вступает на путь, однажды уже пройденный им. «Огромная широкость». . . «И отвратителен и обаятелен». . . И особенно то, что «ищет наконец груза и не находит» — это все черты «Принца Гарри» в «Бесах», красавца, с лицом, похожим на маску. Связь будущего «хищного типа» со Ставрогиным Достоевский тут же подчеркивает: *Ставрогин* — поставлено в скобках под предыдущей записью. И к Ставрогину же, к целому ряду мотивов его сюжетной линии восходит и следующая запись здесь же, несколько в стороне: «снес пощечину, бесчестил, выносил великие впечатления».

Но самое главное — это «красный паучок» Ставрогина, символ всего пережитого и передуманного им в ту минуту, когда впервые зародилась у него мысль о возможности спасения от нравственной гибели в акте публичного покаяния, в «Исповеди». ¹⁴ Асис и Галатя Клод Лорена, золотой век, прекрасное детство человечества, лицо, смоченное слезами сострадания к погубленному им ребенку, — словом, все то, что осталось неиспользованным в «Бесах», снова возникло теперь в художественном воображении писателя:

над словом «Ставрогин» здесь и стоит «красный жучок»; — тема «исповеди» (как увидим дальше) и делается на долгое время основным сюжетным стержнем в истории жизни становящегося «хищного типа».

IV

«Хищный тип», связанный с образом Ставрогина, и «боец за правду», восходящий к теме «Жития великого грешника», — так противостоят они друг другу в первоначальной уже концепции, два будущих главных героя, во круг которых придется плести основные ткани уже вскоре начинающей соиздаться фабулы. Второй герой намечается пока в последнем моменте его жизненного пути, в конечных его достижениях: «Молодой человек, — Достоевский сам же указывает здесь его связь с «Житием», — «великий грешник», после ряда прогрессивных падений вдруг становится духом, волей, светом и сознанием на высочайшую из высот». Так ставил художник свою задачу относительно этого героя и в «Житии», таким он мыслил его и второй раз, в первоначальных планах о роли Ставрогина.¹⁵ Достаточно поэтому пока одного только знака, беглого указания на то, что в новом романе ему должно быть дано место с той же целью и в том же аспекте, в каком он уже дважды являлся в воображении художника. Тип этот для читателя новый, и в свое время образ его будет продуман до конца и поставлен в законченном виде. Гораздо сложнее со вторым, с «хищным типом». Именно потому, что он так близок к Ставрогину и читатель уже знает его, нужно сейчас же найти те черты, которые их друг от друга отличают. Нужно прежде всего снять с его лица ставрогинскую маску, как пишет здесь Достоевский, «сделать его привлекательнее, симпатичнее».

В «Бесах» Ставрогин предстал перед читателем, уже в самом начале романа, в состоянии «дурного равновесия», и таким он остается в сущности до конца. «Великие порывы» чужды ему, «в добре и зле он одинаково холоден». Действия и мысли его, которые должны свидетельствовать об огромной силе его воли и ума, отнесены к прошлому; в пределах же развертывающегося в романе сюжета даны только его отражения: Шатов, Кириллов, Петр Верховенский. Все они уверяют, что их идеи — это его идеи, но высказывают и реализуют эти идеи они, а не он. Вот здесь-то

и начинается отличие. «Хищный тип» в новом романе должен быть представлен как бы пра-Ставрогиным, таким, каким был или мог быть Ставрогин до состояния мертвенного своего покоя, — не отражения, как в «Бесах», а он сам: действующий, волнующийся, страдающий и мыслящий.

«Думать о хищном типе. Как можно более сознания во зле. Знаю, что зло и раскаиваюсь, но делаю рядом с великими порывами». — Эта запись помечена автором: «Эмс», т. е. не раньше середины июня.¹⁶ «Зло» и «великие порывы» — не в акте покаяния, не в «исповеди»; тут же, в романе, должен проявляться он в одно и то же время в «двух противоположных деятельности». В одной деятельности он «великий праведник, возвышается духом и радуется своей деятельности». В другой — «страшный преступник, лгун и развратник... Здесь страсть, с которой не может и не хочет бороться. Там — идеал, его очищающий, и подвиг умиления и умилительной деятельности». Если ориентироваться на окончательный текст, то мы имеем уже здесь в зародыше всю будущую сюжетную линию Версилова: страсть, его поглощающая, — Катерина Николаевна Ахмакова; «очищающий его идеал» — эпизодно — Лидия Ахмакова, а главное — Софья Андреевна, мать Подростка.

Но необходимо сейчас же указать первопричину его раздвоенности, его двух «противоположных деятельностей». Поскольку, по Достоевскому, личность, характер человека формируется воплощенной в нем идеей, — дается одновременно и психологический его, будущего Версилова, портрет и основы его идеологии.

«Этот хищный тип большой скептик. Социальные идеи окружающих его, над которыми он смеется. Разбивает беспощадно идеалы у других и находит в этом наслаждение... У него такая была склонность мысли: Вот прекрасное видение и впечатление. Так глушить их скорее: Все это существовать будет одно мгновение, а в таком случае лучше бы и не быть этому прекрасному». Словом, — формулирует автор свою главную мысль, — «он атеист не по убеждению только, а *всцело*; его характер не от теории, а от чувства этой теории». Как видим, это все из той же «философии» героя из «Записок из подполья», по выражению Горького, «социального дегенерата», в фигуре которого Достоевский «показал, до какого визга может до-

жить индивидуалист из среды оторвавшихся от жизни молодых людей XIX—XX столетий».

К атеистической идеологии центрального героя, как к главной причине его деятельности и его характера, будет Достоевский в дальнейшем много раз возвращаться. Будет ее варьировать, углублять, приведет еще целый ряд доводов в пользу атеизма. «Это главная мысль драмы, т. е. главная сущность его характера», — последует через несколько страниц примечание автора, после того как он попытается уже в фабуле представить жизнь этого героя как «картину Атеиста».

Но чем же тогда объяснить вторую его деятельность, этого центрального героя, где он «является великим праведником, возвышается духом и радуется своей деятельностью»? Он атеист не холодный, а горячий, страдающий атеист. Мотив проповеди христианства — «вериги» — появляется почти одновременно со страстным его отрицанием. «Через 100 000 лет земля остынет, превратится в ледяные камни, которые будут летать вокруг солнца; игра двух лавочников в шашки гораздо умнее и толковее, чем бытие, так глупо кончающееся. Но если есть бог, то есть и для меня вечность, и все тогда принимает вид колоссальный и грандиозный, размеры бесконечные, достойные человека и бытия. *Бытие должно быть непременно и во всяком случае выше ума человеческого*». Так мыслит этот «хищный тип» теоретически, тшится и в «деятельности» бороться со своим атеизмом и «радуется, если это ему удастся». Но атеист все же в нем побеждает, символ «разбитие образа» (в окончательном тексте — после смерти странника Макара Долгорукого) появляется очень рано и проходит через все стадии работы над романом.

Атеизм, «чувство этой теории», как первопричина его характера, будущего Версилова — тема еще более старая, чем «Житие великого грешника». В письме к Майкову от 11 декабря 1868 г. образ, связанный с этой темой, дан в таком виде: ¹⁷

«Русский человек нашего общества и в летах, не очень образованный, но и не необразованный, не без чинов — вдруг уже в летах, теряет веру в бога. Всю жизнь он занимался одной только службой, из колен не выходил и до

45 лет ничем не отличался. (Разгадка психологическая: глубокое чувство, человек и русский человек.) Потеря веры в бога действует на него колоссально. Он шныряет по новым поколениям, по атеистам, по Славянам и Европейцам, по русским изуверам и пустынножителям, по священникам; сильно между прочим *попадает* на крючок иезуиту, пропагатору, поляку; спускается от него в глубину хлыстовщины — и под конец обретает и Христа и русскую землю, русского Христа и русского бога».

В большинстве черновых записей, как и в окончательном тексте, Версиров все время «уже в летах», бога потерял он именно 45 лет. Он «шныряет по новым поколениям, по атеистам»: в записях есть следы его встреч с Васиным, не только случайных, как в окончательном тексте, а как с главным и наиболее идейным среди революционеров, и с Крафтом, и с другими долгушинцами. «Шныряет и по Европейцам»: судя по черновикам, пребывание его в Европе должно было играть в ходе развития сюжета еще большую роль, чем в законченном романе. А то, что атеист «попадает на крючок иезуиту», находит свое отражение в тех «веригах», которые Версиров стал носить после того, как он, по слухам, принял за границей католичество. Мотив перехода в католичество звучит в подготовительных записях особенно сильно.

Так намечается уже третий момент в гнесисе образа Версирова: он восходит не только к князю Даниле и к Ставрогину, но к старому замыслу «Атеизма». И замечательно: дальше в записях это будет сказываться особенно ясно, как сильно борются между собою последние два момента. Версиров, вначале более молодой (Подросток еще не сын его, а брат или пасынок), временами такой же, как Ставрогин, жестокий, способный больше на зло, совершающий такое же преступление, как и он, — начинает постепенно стареть, облик его все более и более смягчается, страдания его становятся глубже, идейнее, мотив ставрогинского преступления совершенно исчезает; именно, как сказано про Атеиста: «разгадка психологическая, глубокое чувство». Как видим, почти в самом начале работы над «Подростком» возродились оба старых неосуществленных замысла: «Атеизм» и «Житие великого грешника». Образ Версирова тяготеет к первому замыслу, а будущий Аркадий Долгорукий — ко второму.

Намечен в основном психологический портрет главного героя, «хищного типа», как и те идеи, воплощением которых он должен стать в каждой из своих деятельностей. Теперь уже можно приступить к созданию сюжета более конкретно. Кроме «хищного типа» и мальчика, который должен стать бойцом за правду, был еще, как уже было указано в связи с темой о детях, какой-то идеальный учитель, по имени, первоначально, Федор Петрович, а затем Федор Федорович.

Первая попытка — объединить всех в одной фабуле.

«Орава детей: детская монархия или республика. У хищного типа с оравой какие-то сношения. В ораве два героических мальчика. Один из них, проведая, что Он * тайне делает добро и посещает нуждающихся, переходит к Нему, в Его обожатели; другой, предводитель оравы, наоборот, не поддается Ему, усиливает вражду». Связана «орава» с Ним, с «хищным типом», еще через Его 13-летнюю падчерицу, которую Он обольщает; она тоже изменяет шайке детей и матери. Мать, страстно в Него влюбленная, ревнует его к ребенку, к своей же девочке. «Мать ее допрашивает, покрывает поцелуями, но девочка высокомерно и подозрительно холодна. Мать ноет над ней: «зачем ты меня не любишь?» Девочка больна и в бреде. Мать над нею. Мать умерла. Девочка чуть с ума не сошла от раскаяния. Упрекает Его, а Он охладел и смеется. Девочка повесилась. И тут жучок; неотразимость раскаяния и невозможность жить после жучка. Его губит сразу совершенно неотразимо сознательно жизненное впечатление жалости, и Он гибнет как муха».

Это первый остов плана, восходящий в целом ряде мотивов еще к ставрогинской «Исповеди». В него вносится тут же следующее осложнение: «Советник и руководитель у оравы детей — Федор Федорович». А мать девочки — «адская Его жертва», всем Ему пожертвовала, погубившая для Него жизнь Голицына. «Он адски ее мучает для наслаждения ее мучениями». «Жучок», символ раскаяния, может быть, таким образом, не только в связи с самоубийством девочки, но и со смертью жены. Следует такая деталь: «...мальчик дает Ему пощечину». Очевидно, это

* Дальше, как в черновиках, местоимение, относящееся к будущему Берсилову, с большой буквы.

тот же перешедший к нему «героический мальчик», будущий боец за правду. «Жена-праведница»: то, что она была причиной гибели Голицына, она должна переживать очень сильно; история смерти Голицына тоже может быть введена в сюжет.

Это все мотивы, связанные главным образом с первой, преступной деятельностью «хищного типа». Вторая же его деятельность, светлая, в этом плане лишь намечена: «Он любит девицу или чужую жену и в тамошней обстановке Он светел, великодушен и героичен». Дальнейшее движение фабулы отсюда и начинается. Чтобы теснее связать с главным героем идеального учителя Федора Федоровича, выдвигается такая версия: «Не жена ли его та чужая жена, где совершается праведный подвиг героя? Женился же Федор Федорович на ней *«не по страсти и не по любви, а по какому-то семейному условию»*.

Внимание на время переносится на Федора Федоровича, и дается ему тщательная характеристика. Он тоже восходит к образу, однажды уже полностью развернутому. В скобках прямо сказано о нем: «Идиот». У него «страсть к детям». Дети — постоянное его общество, его товарищи. Они «простодушны и прелестны», и только с ними он счастлив. «Знаете, вот мы их растим, а ведь как жаль, что они вырастут, станут хмуры и грубы, а теперь так простодушны и так прелестны... Они меня очеловечивают. Есть кое-что, чего без них я бы никогда не понял».

В романе «Идиот» в развернутой речи «положительно прекрасного человека» князя Мышкина это звучит так:¹⁸ «Не люблю быть со взрослыми, с людьми, с большими... с ними мне всегда тяжело почему-то, и я ужасно рад, когда могу уйти поскорее к товарищам, а товарищи мои всегда были дети... Я стал ощущать какое-то чрезвычайно сильное счастливое ощущение при каждой встрече с ними. Я останавливался и смеялся от счастья, глядя на них, и я забывал тогда всю свою тоску... Вся судьба моя пошла на них».

Федора Федоровича, как и Мышкина, тоже все считают ребенком, «ничего не понимающим в жизни и в человеке», а на деле он тоже глубже всех постигает человеческую душу, обладает каким-то особым внутренним зрением. Свою жену или невесту он «ужаснул» тем, что «рассказал ей всю психологию ее души до глубины». Рассказал он «спокойно, почти холодно». Но этот холод лишь внешний,

«его спокойствие от проникнутости до конца идей», именно от какого-то иного, «внутреннего» знания.

«Но если вы все это проникли и знаете в людях, то как вы можете оставаться так холодны и спокойны», восклицает она, когда он раскрыл ей ее душу. — «Но ведь я не холоден и не спокоен», отвечает он ей, но так холодно и спокойно, что как будто не понял замечание». «Разгадка в том, что он фанатик, таковые все спокойны, хотя бы на казнь идти».

Параллель с Мышкиным продолжается: он тоже «не от мира сего», ему чужды обычные человеческие страсти.

«Нет, он невозможен, как муж, как самец — говорит она сама в себе», жена или невеста, хотя «чувствует к нему ласковость». Это повторение основного тона в отношении Аглаи Епанчиной к Мышкину.

И вот тем замечательнее эта попытка дать тот же идеальный образ «положительного героя» на совершенно *противоположной* идейной основе: не христианин он, эта новая разновидность «идиота», а именно, как и будущий Версилов, тоже атеист. «Социализм», атеистический социализм, «переделка всего человечества по новому штату» — это ведь та же тема о боге, «только с другого конца», — скажет позднее автор устами Ивана Карамазова: ¹⁹ тот же психологический строй, основанный на глубочайшей вере, но не старой, а новой, *на вере в революцию*. Мысль эта у Достоевского, в сущности, мелькала и раньше. Еще в «Бесах» «особенный, совершенный атеист» приравнен в какой-то мере к человеку «совершеннейшей веры», и им обоим противопоставлен «равнодушный», который «никакой уже веры не имеет кроме дурного страха, да и то лишь изредка, если чувствительный человек». ²⁰

В «Братьях Карамазовых» же эта мысль становится уже основной движущей силой: *Patet Scraphicus* — старец Зосима и атеист Иван равновелики. Однако там, в «Карамазовых», автор делает все со своей стороны, чтобы они казались читателю на одинаковой высоте лишь в области «разума». *Психологически*, с людьми. Иван должен приближаться к «хищному типу». Образ Ивана, который был задуман как носитель «современных идей», начинает искажаться на самом кульминационном пункте в книге «*Pro et Contre*» все с той же целью борьбы с революцией: идеальная нравственная чистота с атеизмом несовместима.

Здесь же, в записях о Федоре Федоровиче, именно намечалась обратная задача: высочайшие нравственные качества персонажа сочетать с социализмом, не в научном, разумеется, материалистическом его обосновании, — которую Достоевский оставался враждебен, — но все же с революционным атеистическим социализмом.

«У Федора Федоровича, — читаем мы, — есть идеи, которым он верит неизменно и смело, несколько социальных идей между прочим». Он народен: «Народ, при соприкосновении с ним, совершенно и прямо признает его за своего». Он социалист и фанатик, «весь вера»; про Христа отзывается, что «в нем было много рационального, демократ, твердость убеждения и что некоторые истины его верны, но не все», — совсем как утопический социалист 40-х годов, как петрашевец. Федора Федоровича ничто не смущает: «ни кровь, ни пожары (драгоценности Тюильри)»: «драгоценности будут лучше, в тысячу раз выше», поэтому он и жаждет гибели современного буржуазного общества; парижских коммунаров он понимает и вполне их оправдывает.

Так противостоит он «хищному типу» в основе; тот скептик, а Федор Федорович «уверовал в смысл коммунизма». Разумеется, тот «коммунизм», в который уверовал Федор Федорович, ничего общего не имеет с нашим научно обоснованным коммунизмом. Это, конечно, не более как туманная сумеречная мечта человека, которому «лик мира сего очень и очень не нравится», и он невольно предается очарованию сладостной фантазии. Сама основа философского мышления Достоевского, идеалистическая, постоянно толкала его к смешению коммунизма в его представлении с «коммунизмом» христианским, в частности с «коммунизмом» Вейтлинга, которого, как известно, Маркс так сурово осудил. Этим и следует объяснить, почему здесь, как в первоначальных записях к роману, так и в окончательном тексте, борьба идей в связи с темой о будущем счастливым человеческом строе определяется преимущественно одним признаком: коммунизм *христианский* или *атеистический*. Идеальный герой Федор Федорович мыслит атеистически, и в этом его своеобразие.

В дальнейшем основные черты образа Федора Федоровича, как уже было раз указано, будут переданы страннику, Макару Долгорукому. Мы видели только что, как в противоположность «хищному типу» Федор Федорович

народен: «народ совершенно и прямо признает его за своего». Макар Долгорукий будет народен и по происхождению. Они оба: и Федор Федорович и странник — «*весь вера*»; оба, как дети, и души у них чистые, незлобивые, и всё они понимают и всех прощают. Почти та же у них обоих и сюжетная ситуация: Макар женится на Софье Андреевне тоже не по страсти и не по любви, а по «*семейному условию*», по предсмертному завещанию ее отца. И как здесь «она-то и есть та чужая жена, где совершается *праведный подвиг* героя», «хищного типа», так и в окончательном тексте лучшая, праведная сторона Версилова символизируется в его вечной привязанности к «маме», к матери Подростка Софье Андреевне. Вера в «смысл коммунизма», радостное принятие «современных социальных идей» тоже останутся до конца, перейдут к нему же, к страннику Долгорукому. Кое-чем заимствуется у Федора Федоровича и Васин, долгушинец, революционер, поражающий «холодом и спокойствием». Само собою разумеется, все эти идеальные черты Федора Федоровича, распределенные между другими образами на измененной идейной основе, получают потом уже новое освещение, но для этого должна будет резко измениться и сама фабула. Пока же, повторяем, Федор Федорович и будущий Версиров противостоят друг другу именно как два противоположных *психологических типа*: один — атеист, который ни во что не верит, ищет веры и ее не находит, — в этом его трагизм; другой — «*весь вера*», но тоже атеист, вера не в бога, а в социальное преобразование человечества: Мышкин, такой же идеальный, нравственно чистый, но без Христа.

Нужно теперь лишь попытаться связать их еще ближе — не только через ораву детей, сделать естественнее их встречи, в которых проявлялась бы их идейная борьба. «Не сделать ли их братьями?»

Следует такая запись: «Он — т. е. главный герой — хищный тип *сорока лет*», а Федор Федорович «младший брат его (или лучше сведенный брат) *двадцати семи*». Соответственно этому и «мальчик героический», которому была дана раньше роль перебежчика (из оравы детей), — тоже его брат, становится несколько старше, приближается уже по возрасту к будущему Подростку.

Итак, — подводит художник как бы первый идейный итог всем своим исканиям:

«Один брат Атеист,

Другой — весь фанатик,
Третий — будущее поколение,
живая сила, новые люди,
перенес Lambert;

(и новейшее поколение — дети)».

Но кто же из этих трех, кроме «новейшего поколения — детей», должен быть самым главным героем? Роман может строиться близко к теме «Жития», тогда этим героем будет третий брат, «будущее поколение», Подросток; либо в русле концепции «Идиота», тогда — Федор Федорович; либо по прообразу Ставрогина, осложненному чертами героя из неосуществленной поэмы «Атеизм»: «хищный тип», будущий Версиров. Мысль автора склоняется пока больше к третьему варианту. Следует тут же такая запись:

«ГЛАВНОЕ. Во всем идея разложения... Разложение — главная видимая мысль романа. Все врозь, даже дети врозь... Общество химически разлагается»; и выражает это «главное» Он, «хищный тип». Когда кто-то ему возражает: «Ну, нет, народ и страшное множество крепких еще семейств», «хищный тип» отвечает: «это все середина, рутина, люди без мысли, мы люди с мыслью, за нами все пойдут». И приводится в пример Белинский: «Белинский был один, когда задумывал свой поворот после статьи своей «Бородинской Годовщины», и все за ним пошло. Идея его всех победила. Даже рутина лепечет его не понимая».

VI

Белинский упомянут здесь не случайно. В окончательном тексте имя его исчезает, но дальше, в черновиках, он окажется связанным с Версировым еще теснее: Версиров знал его лично, как и Герцена. Мы, очевидно, в сфере идеологической борьбы идей 40-х годов, на том рубеже, когда утопический социализм, с одной стороны, мыслится еще как «обновление христианства»,²¹ а с другой, умы, более зоркие и последовательные, под влиянием материалистической философии, стремились сочетать идею переустройства мира по новому штату с атеизмом. Белинский пережил обе эти стадии, можно сказать, на глазах у Достоевского, и образ его перед Достоевским все время двонется.

Когда старший брат, атеист, «не верующий воскресению», сравнивает роль «людей мысли» с ролью Белинского

после «поворота», после его статьи «Бородинская годовщина», — он совершенно прав: свой отход от религии, а вскоре и борьбу с ней Белинский действительно начинает с этого момента. Но это была, по крайней мере на первых порах, борьба с *религией*, с *церковью*, а не с Христом; Христа воспринимал тогда и Белинский как социального реформатора, как говорит Достоевский, «социализм принимался лишь за поправку и улучшение христианства, сообразно веку и цивилизации». ²²

Христос — либо «богочеловек», и отсюда вера в воскресение; либо, как говорит о нем Кириллов в «Бесах», идеал совершенства и красоты человеческой: «человекобог», великий реформатор, и тогда это совершенно мирится с атеизмом, тогда возможен и некий компромисс с христианством. Эту именно формулировку, которая могла зародиться только на основе утопического социализма, Достоевский и принял на всю жизнь, и в том или ином виде она является во всех его больших романах, достигая наибольшей ясности и полноты в антитезе: Иван Карамазов и старец Зосима. ²³

«Карамазовы», их основная идеологическая тема, все время ощущается здесь в споре «старшего брата», будущего Версилова, с Федором Федоровичем.

Когда старший брат в споре с Федором Федоровичем цинически утверждает, что только Христос основывал общество на свободе и что «нет другой свободы, как у него», коммунисты же отрицают человеческую свободу, то «Федор Федорович сбив в аргументах, но не в чувстве». Ибо «это только слова и все это пойдет к настоящему делу». И «уходит от спора спокойный». Это тема «легенды» о великом инквизиторе; ²⁴ она явственно звучит здесь в самой основе своей, с той лишь разницей, что там Достоевскому нужен «спокойный» «в своем чувстве» Христос, религиозно-мистический, «богочеловек»; здесь же — атеист, социалист, признающий в Христе не богочеловека, а человекобога.

И то же дальше: когда кто-то выдвигает против будущего коммунистического общества обычное вульгарное обвинение со стороны противников коммунизма, что в новом обществе дети будут без отцов, ибо семейства не будет, то Федор Федорович на это отвечает, что «верно не так будет... Да и можно ли не любить детей: вот ведь я же их люблю, такие как я всегда будут, а будут в тысячу раз лучше нас, ибо все будут любовь и согласие. Все будут

отцы и матери»... «Недалеко еси от царствия небесного, ты смешал христианство с коммунизмом», — говорит ему один, здесь не названный, очевидно, сам автор. Но именно автор как раз и повинен в этом смешении: он-то всегда это и делал. Мысль Федора Федоровича о том, что в будущем обществе «все будет любовь и согласие, все будет отцы и матери», войдет потом без изменения в «Исповедь» атеиста Версилова, несколько позднее — в «Сон смешного человека»; она же явно звучит и в поучении старца Зосимы.²⁵

Мы указывали здесь на параллель с «Братьями Карамазовыми» не только по сходному потоку идей. Эти три центральных героя — будущий Версилов, Федор Федорович и Подросток — предстали только что воображению художника как члены одной семьи, как *братья*; в единой семейной основе, их связывающей, намечается уже сейчас нечто от «карамазовщины». Так, в черновиках старший брат, в будущем Версилов, часто говорит о «подлой своей живучести» как о главной черте своего характера; она же подчеркивается, как основная, и в Подростке, вплоть до окончательного текста, где про него сказано, что ему и «трех жизней мало», и в этом он — повторение Версилова. Мы уже знаем, что Федор Федорович в дальнейшем развитии сюжета исчезает; и трудно себе представить, как могла бы в нем сказаться эта основа. Но влюблен в жизнь и на закате дней своих его будущий эквивалент, старец Долгорукий: «расти травка, расти божие дитя». И в Алексее Карамазове (в первоначальных записях он, как и Федор Федорович, тоже назван «идиотом») «карамазовщина» проявляется в форме уже одухотворенной, лишенная своей земной страстности.

Что образы будущих «Карамазовых» носились перед Достоевским уже теперь, когда сюжет «Подростка» далеко еще не установился, свидетельствует одна неожиданная, казалось бы, запись на полях, точно датируемая 13 сентября 1874 г.:

«Драма. В Тобольске, лет двадцать назад, в роде истории Иль-ского. Два брата, старый отец, у одного невеста, в которую тайно и завистливо влюблен 2-й брат. Но она любит старшего. Но старший, молодой прапорщик, кутит и дурит, ссорится с отцом. Отец исчезает. Несколько дней ни слуху ни духу. Братья говорят о наследстве и вдруг власти: вырывают из подполья тело. Улики на старшего

(младший не живет вместе). Старшего отдают под суд и осуждают на каторгу. (. . . Ссорился с отцом, похвалялся наследством покойной матери и прочая дурь. Когда он вошел в комнату и даже невеста от него отстранилась, он, пьяненький, сказал: неужели и ты веришь? Улики подделаны младшим превосходно). Публика не знает наверно, кто убил.

Сцена в каторге. Его хотят убить. Начальство. Он не выдает. Каторжные клянутся ему братством. Начальник попрекает, что отца убил.

Брат через двенадцать лет приезжает его видеть: Сцена, где безмолвно понимают друг друга. С тех пор еще 7 лет, младший в чинах, в звании, но мучается, ипохондрик. Объявляет жене, что он убил. «Зачем ты сказал мне?» Он идет к брату. Прибегает и жена. Жена на коленях у каторжного просит молчать, спасти мужа. Каторжный говорит: «Я привык». Мирятся. «Ты и без того наказан», говорит старший.

День рождения младшего. Гости в сборе. Выходит. Я убил. Думают, что удар. Конец: тот возвращен, этот на пересыльном. Его отсылают. (Клеветник.) Младший просит старшего быть отцом его детей.

«На правый путь ступил».

Слились здесь воедино основная фабула «Карамазовых» с фабулой вставного в них эпизода: «Таинственный посетитель».

А. Г. Достоевская пишет в своих «Воспоминаниях»,²⁶ что Федор Михайлович думал уже над продолжением «Карамазовых»: те же действующие лица, но через двадцать лет, когда они успели бы многое сделать и многое испытать в своей жизни. Если бы имелись хоть некоторые черновые записки к задуманным уже последующим частям романа, мы, очень возможно, нашли бы в них тот же финал в судьбе Ивана и Дмитрия: Иван ведь не «тепл», как Ставрогин, а «горяч или холоден», «дурное равновесие между добром и злом» ему чуждо, он мог бы, по замыслу автора, скорее всего, даже *должен* бы «ступить на правый путь», совершив акт раскаяния, найти искупление в страданиях. Но дело не в финале. Важно именно то, что три брата в первоначальных набросках к «Подростку» и самый первый замысел «Братьев Карамазовых» связаны между собою единым моментом зарождения и единой семейной основой. Это звенья одной цепи, движение в пределах той

же сложной и единой системы образов, которая объединяет все творчество Достоевского второго периода.

В «обществе, химически разлагающемся, где все врозь, даже дети врозь», должны действовать братья здесь, в «Подростке»; в таком же обществе действуют братья и в «Карамазовых». На срединном пути от Ставрогина к Ивану будет находиться, — особенно это видно в черновиках, — образ этого старшего атеиста, символизирующего собою «главную и видимую мысль романа, идею разложения». А функции среднего брата, «вся судьба которого уходит на детей», спасителя новейшего поколения, среди общего распада одного предвидящего новые формы грядущего единства, — его функции переданы будут почти целиком Алексею Карамазову (в первых черновых набросках о нем).

Но та же линия ведет и назад. «Идиот», с его центральной фигурой, князем Мышкиным, к которому, как мы видели, непосредственно восходит образ идеального учителя Федора Федоровича, связан с «Преступлением и наказанием» по такой же антитезе: «Идиот» — как ответ на идеи Раскольникова, как указание на того «положительно прекрасного человека», который исцелит общество от той же страшной болезни разложения.²⁷

Мир оказался осужденным на жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язвы: «появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, наделенные умом и волей, и люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими». Они переставали друг друга понимать, каждый думал, что в нем одном заключается истина: «в какой-то бессмысленной злобе обвиняли друг друга, дрались и резались; начались пожары, начался голод; все и всё погибало». Так представлялась Раскольникову в «Эпilogue»²⁸ картина разлагающегося буржуазного общества, трагедия всего европейского человечества, заблудившегося, разрозненного в своей ни на минуту не прекращающейся борьбе.

Где же спасение? И видится художнику его миссия: он обязан показать идеал в образе «положительно прекрасного героя», одного из тех «чистых и избранных», которые «начнут новый род людей и новую жизнь», обновят и очистят землю. И вот: когда встал вопрос, по какому образу он должен быть создан, этот чистый и избранный, этот «обновитель земли», то ответ был: не в духе Дон-

Кихота или Пиквика Диккенса, которые «прекрасны единственно потому, что в то же время и смешны», а по образу «действительно безмерно, бесконечно прекрасного лица» — Христа.²⁹

«Идиотом» и открывается целая галерея этих положительных героев. Прообраз в романе спрятан, однако фон шестой главы первой части, где дан уже весь Мышкин, явно носит следы евангельские: Мари согрешившая (Мари — «Мария Египетская»), пастухи, стада, которые она пасет, и невинные счастливые дети, а рядом с ними учителя (фарисеи). Идиот целует Мари поцелуем великой к ней жалости, и дети, только дети это понимают чистыми своими сердцами.

Но мечется в продолжение всего романа этот Христу подобный, идеальный герой, жалкий и смешной. Сфера его действий крайне узкая. Он проповедует заветные авторские идеи перед кучкой выродившейся аристократии, и его никто не понимает. С кем он ближе соприкасается, тот гибнет. Чутье художника одержало верх над проповедником: трагический финал романа особенно показателен. Князь Мышкин у трупа убитой, в сущности по его же вине, Анастасьи Филипповны заболевает уже окончательно идиотизмом, душа его никогда не просветлеет. Никто не услышал «голоса и слова» этого чистого и избранного, пришедшего к людям, чтобы спасти их. Это плод «усилия воображения», а не плоть и кровь русской действительности, — отозвался потом об «Идиоте» сам автор.³⁰ Другие положительные герои будут связаны, хотя несколько еретически, не с Христом уже, а с историческим христианством, еще ближе — с православной церковью: в «Бесах» — архиерей на спокое; в «Карамазовых» — старец Зосима в скиту с его послушником Алексеем. Хотя в этих образах «усилие воображения» в какой-то мере опирается уже на некий реальный быт, — печать бесплодности прототипа князя Мышкина остается на них, поскольку они тоже вдали или в стороне от широкой, волнующейся жизни.

Только здесь, единственный раз, была сделана попытка дать образ «положительно прекрасного героя» в органической связи с «идеями века сего», героя, не с высоты «небесных идеалов» спускающегося к людям, а все время пребывающего среди них, болеющего их же вопросами. Судя по количеству первоначальных записей о нем, Федору Федоровичу намечалась такая же центральная

роль, как и у князя Мышкина. Судьба его должна бы быть тесно сплетена с судьбою старшего брата, скептика, «хищного типа». А Подросток колебался бы между ними обоими, его сердце было бы «полем битвы», на котором «борются добро со злом» и добро в конце побеждает.

На вершине триады революционер; социалист в роли спасителя человечества, обновителя и очистителя земли, с широким «умным сердцем», все понимающим и все оправдывающим в революции. «Ему указывают на кровь и пожары (драгоценности Тюльри)». Но кровь и пожары не смущают Федора Федоровича: «А драгоценности будут лучше, в тысячу раз выше». Противники революции, оправдывая «мстителей», клеветают на коммунаров: это они виноваты в том, что во время парижского восстания «погибли в пожарах великие произведения искусства». Если даже это и верно, отвечает им Федор Федорович: «я полагаю, что у тех, которые жгут, кровью обливаются сердце».

VII

«Главная и видимая идея романа, — читали мы выше, — идея разложения», и внимание снова сосредоточено на образе героя, эту идею воплощающего, на ни во что не верующем, оторванном от народа «хищном типе». Настало время определить его социальное положение.

Первое определение: «Он бывший помещик, проживающий выкупные». «Но, — прибавляется тут же, — это под сомнением, обдумать». Через несколько строк опять то же: «Он — праздный человек (прежний помещик, выкупные, за граница)». Через несколько страниц уже другое: «Он — дурного рода, сын какого-то чиновника, но высший и известный человек по образованию. Он может быть стыдиться того, что дурного рода и страдает». И, наконец, последнее: «кандидат на судебные должности».

В окончательном тексте будут использованы все три мотива: «стыдится того, что дурного рода» и страдает, правда не Он, а сын Его, Подросток. Он же остается праздным помещиком, шатается за границей, т. е. оторван от родной почвы; и в прошлом не «кандидат на судебные должности», а мировой посредник. Дальше начинается осложнение и развитие первоначальной схемы плана по линиям побочным, но все вокруг Него же. Измученная Им идеальная жена — «вдова княгиня. Она может быть в кого-

нибудь влюблена; Он вызывает ее возлюбленного на дуэль и хочет убить его на ее глазах». Снова появляется образ молодого князя, ее возлюбленного, будущего Сергея Сокольского. Его фамилия и здесь еще — Голыцын. И с этой фамилией он долго еще будет странствовать по черновикам в роли соперника «хищного типа», пока не установится окончательно ситуация между всеми действующими лицами по принципу противопоставления народа с его правдой (семья Долгоруковых) — развращенным высшим слоям общества.

А рядом с молодым князем появляется впервые, пока еще очень вскользь, и старый князь, в будущем старик Сокольский; по другой версии он не князь, а граф. Главный герой, атеист — управляющий всеми его делами и в какой-то связи с его женой. Опять чья-то пощечина Ему, но уже не от мальчика; скорее всего, от молодого князя, судя по контексту: «Он переносит оскорбление и этим пленил свою идеальную жену». В окончательном тексте почти та же ситуация (Лидия Ахмакова, молодой князь Сокольский и Версилов). И снова мотив проповеди атеиста «о Христе и о боге», в которого Он, однако, не верит: «Он проповедник христианства и потому-то княгиня и бросила свой свет и всех и пошла за Него». Сопоставлены рядом: связь главного героя с женою старого князя, которая вскоре, в черновиках же, превратится в Его дочь, и огромное на нее влияние Его проповеди христианства. Это уже линия Катерины Николаевны Ахмаковой. Так намечены, в сущности, все нити сюжетные, поскольку они восходят к Нему, «хищному типу».

Утверждается еще и еще раз идеологическая Его основа, Его атеизм: «Он в бога не верит, *чувством* его не постигает». Но в то же время «верит в великую мысль, которую, однако, никак нельзя формулировать». Вытекает же у Него эта вера в великую мысль из чувства в себе бесконечной силы, которая проявляется «в Его живучести и ужасности», как и у Ивана из «Братьев Карамазовых», тоже носителя какой-то «великой мысли» (ср. слова Дмитрия о нем: «Иван тайна, у него идея»). В этом же корень Его отличия от Ставрогина. Он «любит жизнь, хотя и сознает, что любить жизнь таким как Он подло». «Я бесчестен до конца почти, — говорит Он о себе, — я могу чувствовать два противоположных чувства вместе. Мое имя — срамник и больше ничего». Но это отнюдь не воплощение дурного

равновесия, не мертвенный холод застывшего в своем отрицании скептика. Ему, правда, говорит кто-то, что, если Он и носитель высшей идеи, то как «скептик без страдания». И Он с этим соглашается: «Мы до страдания не доросли, ибо страдания достойно только неразвращенное сердце. Молюсь о страдании». Но автор потом это страдание и дает ему. Привлазавшийся к Нему юноша (повидимому, младший брат), будущий Подросток, говорит, что в каждой Его «выходке было столько страдания надорванного и прижитого, что я не мог отставать от Него или стать к Нему равнодушным». Дурное равновесие Ставрогина символизировалось в том, что перед ним преклонялся до конца только такой мелкий бес с «хвостом датской собаки», как Петр Верховенский. Другие, Шатов и Кириллов, от него отпали: он проповедывал им свои идеи, но сам был к этим идеям равнодушен. Петр Верховенский и интерпретировал это преступное равнодушие. Здесь же от этого центрального героя исходят какие-то светлые лучи на «новейшее поколение, на третьего брата, на искателя правды, чистоты и «благообразия».

VIII

До 11 июля работа шла преимущественно вокруг «хищного типа». Он должен быть главным героем, связующим центром всех событий. Образ его оказался поставленным уже достаточно твердо и в плоскости идеологической и психологической. 11 июля вдруг поворот; крупным почерком запись:

«ГЕРОЙ НЕ ОН, А МАЛЬЧИК».

И дальше:

«История мальчика, как он приехал, на кого наткнулся, куда его определили. Повалился к профессору ходить, бредит об университете и *идея нажиться*». Он же, т. е. «хищный тип», «только *Аксессуар*, но какой за то *Аксессуар!*». И тут же очень крупно: «ПОДРОСТОК». *Идея нажиться*. Через несколько строк конкретнее: «Он приехал с *идея* стать *Ротшильдом*».

Так выступает из неясности второй центральный герой, будущий Аркадий Долгорукий, которому дается сейчас же такая характеристика: «Молодой человек, оскорбленный, с жадной отомстить, колоссальность самолюбия. план Ротшильда (его тайна)». И вскоре, в связи с тем, что Под-

росток должен стать главным героем, дается роману такое заглавие: *«Подросток»*. *Исповедь великого грешника*, писанная для себя». Исповедь для себя уже заранее определяет форму романа: «от Я», на которой после долгих колебаний, взвешиваний всех «за» и «против» автор в конце концов остановится.

«Великий грешник» — так указан вторично самим Достоевским генезис образа Подростка. И из «Жития» же его идея «стать Ротшильдом». Первая запись из плана к «Житию великого грешника» так и начинается: *«Накопление богатства»*. И дальше там же на эту тему целый ряд записей, которые углубляют эту идею, обосновывают ее психологически: «Огромный замысел владычества... устанавливается на деньгах... «Опасная и чрезвычайная мысль, что он будущий человек необыкновенный, охватила им еще с детства. Он непрерывно думает об этом. Ум, хитрость, образование — все это он хочет приобрести как будущие средства к необыкновенности. Опять-таки деньги кажутся ему во всяком случае не лишними, везде пригодною силою, и он останавливается на них. — Если он не будет необыкновенный, а самый обыкновенный, то деньги дадут ему все, т. е. власть и право презрения».

Есть, однако, здесь с самого начала целый ряд не только оттенков, но и существенных отклонений в постановке образа и в обосновании его идеи о богатстве. Прежде всего, из множества детей, которые должны были действовать в «Житии», дитя, перенесенное сюда, уже не дитя, «уже вышло из детства и появилось лишь неготовым человеком». Причем из самых разнообразных идей и поступков, которые должны были характеризовать «грешника», выбран твердо только один «цикл идей о богатстве», и только в этой части образ Подростка сразу поставлен. Но самое главное — это конечная цель, к которой стремится будущий миллионщик. Снимается с идеи богатства обычно обволакивающая ее пошлость: и там, в «Житии», и здесь. Как «грешник», так и Подросток стремится не к роскоши, не к наслаждениям: «будет носить дерюгу, не притронется к женщине». Но там, в «Житии», богатство, это «будущее средство к необыкновенности», связано с огромным его замыслом владычества; здесь же, в черновиках, рядом с «колоссальностью самолюбия» уже с самого начала вносится мотив оскорбленности, стремление к *уединению* и свободе, *вызванное тяжкими переживаниями детства*. И вскоре эти,

только эти последние причины и будут играть роль в его стремлении к миллиону.

«Огромные глубины, много пережитого, чего и предположить нельзя было, чувства и мысли уже свои, уже выжитые, что неожиданно для его лет», — вот что увидел Он, будущий Версилов, всегда столь пронизательный, в этом «цикле идей, столь глупеньком, но страстном о Ротшильде». На большую нравственную высоту стремится автор поднять Подростка: миллион — это как бы его демон, сила какая-то посторонняя, но не сущность его.

И вот возникает вопрос: только ли с «Житием» связан образ Подростка в этом стремлении стать Ротшильдом? Не восходит ли он также к некоему реальному прототипу? «Чтобы написать роман, — читали мы в одной из записей, — надо запастись прежде всего одним или несколькими сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора действительно. Из этого впечатления развивается тема, план, стройное целое». Не из пережитого ли сердцем автора какого-то очень сильного впечатления он и появился, этот Подросток с его «демоном»?

Как огромное событие, в плоскости отнюдь не только личной, должен был воспринять Достоевский приглашение его Некрасовым в сотрудники «Отечественных записок», чтобы дать туда именно этот роман «Подросток».

Почти тридцать лет любви и ненависти, перемежающихся дружеских и вражеских отношений. То Некрасов еще в годы юности открывает ему «самой существенной и самой затаенной стороной своего духа»,³¹ и он один из самых близких, так же близок, как и Белинский; то, в эти же годы, исходят от него величайшие обиды и оскорбления. Так, пишет Достоевский в одном из писем своих к брату за 1847 г., что с «Современником» он окончательно рассорился, они обвиняют его в крайнем честолюбии,³² Некрасов печатает о нем резко отрицательные отзывы, вместе с Тургеневым сочиняет против него злые эпиграммы и т. д. и т. д. В последнее время, перед тем как Достоевский был присужден к смертной казни, замененной каторжной тюрьмой в далекой Сибири, они уже не встречались. Казалось, разошлись навсегда врагами. Но на каторге, лежа на нарах с убийцами и ворами и предаваясь горестным воспоминаниям о своей изменчивой, полной тревог литературной судьбе, он снова стал вдумываться в образы прошлого и принял Некрасова в свое

сердце — во всей его сложности, таким же двойственным, как в первые годы знакомства: то близким, то враждебно далеким.³³

И так же было по возвращении Достоевского из Сибири: «Встречаясь, они говорили иногда друг другу даже странные вещи, точно как-будто в самом деле что-то продолжалось, начатое еще в юности».³⁴ Открывается Достоевским журнал «Время» — Некрасов поддерживает его своими стихами; а вместе с Некрасовым и другие сотрудники «Современника»: Салтыков-Щедрин, Помяловский, Слепцов — вся демократическая фаланга. Но вскоре опять вспыхивает вражда; к середине 60-х годов, с «Эпохи», второго журнала Достоевского, она все более и более обостряется. В убеждениях уже полное расхождение. Политические взгляды Достоевского стали уже восприниматься передовыми слоями русского общества как явно реакционные. Прекращаются всякие встречи. Последнее униженное обращение к Некрасову о помощи — Некрасов отказывает.³⁵

Заграничный период, в особенности его финал, редакторство в «Гражданине», — высшая точка этой вражды. В сущности Достоевский полностью присоединяется теперь к самым лютым врагам Некрасова, к Ю. Г. Жуковскому и критику М. А. Антоновичу,³⁶ только что написавшим свою злоую и тупую брошюру, в которой Некрасов обвиняется в продажности³⁷.

Да, Некрасов — это символ. Идеи передовые, демократические идеи «Отечественных записок», — твердит в это время Достоевский, — вовсе не народные идеи. «Отечественные записки» презирают Россию; они ругают земство; все своеобразное, русское им ненавистно.³⁸ И перепечатывались в «Гражданине», под редакцией Достоевского, гнуснейшие статьи из «Московских ведомостей» против эмигрантов, в частности против умершего уже Герцена и Бакунина;³⁹ помещались грубейшие пасквили на революционную молодежь драматурга Кишенского,⁴⁰ — не перейти, казалось бы, никогда этой пропасти, которая образовалась между ним, Достоевским, который сам же сказал, что после «Бесов» его должны признать «рenegатом», и «Отечественными записками» во главе с Некрасовым.

И вдруг — эта резкая перемена, этот неожиданный зов в сотрудники туда, где, как с горечью отмечает Анна Григорьевна, его бранили и Михайловский, и Елисеев, и Ска-

бичевский, и особенно — суровый Салтыков.⁴¹ И вскоре, в связи с этим сотрудничеством, в плане личном: «Некрасов хочет начать совсем дружеские отношения».⁴² Он берет его к Салтыкову, передает ему от Салтыкова поклоны,⁴³ восторженно отзывается о начале романа; дает ему большие авансы и просит не торопиться, чтобы не портить.⁴⁴ У Анны Григорьевны было несомненно гораздо больше фактов, чтобы писать в своих воспоминаниях о том, как «дорого было для сердца Достоевского это возобновление душевных отношений с другом его юности».⁴⁵

Каждый раз, когда Достоевский думает о Некрасове, он почти всегда воспроизводит все самые памятные факты из их отношений. Многие из них, быть может, вскоре померкнут. Но пока, в период созревания замысла «Подростка», они всецело владеют душой художника. Развертывается вся жизнь и Некрасов, «так много значивший в ней». Вот они, сороковые годы: этот незабываемый на всю жизнь восторг Некрасова и близость с ним в связи с «Бедными людьми»; «молодость, чем-то проникнутая и чего-то ожидавшая»; «Ревизор» и «Мертвые души» Гоголя в их толковании преимущественно со стороны их идейного смысла, в толковании именно Белинского, этого строгого «возвестителя истины», перед которым так благоговел юный Некрасов, благоговел и он сам, Достоевский.⁴⁶ И дальше: недоразумения, разрыв. Петрашвцы. Каторга и «первые стихотворения Некрасова, прочитанные в Сибири, как только получил право взять книгу в руки»... Вскоре Некрасов передает через Плещеева горячие приветствия в своей вине.⁴⁷ И опять недоразумения. Еще горшая обида с «Селом Степанчиковым». «Современник» повесть забракował: «Кончился Достоевский как писатель». Но следует вторая встреча, по возвращении из Сибири. Вторая встреча — снова взлет: Некрасов, постигающий лучшие стороны его духа, в стихотворении «Несчастные» сам указывает ему, каким он в сущности всегда воспринимал его: и в годы молодости, и в 50-х годах; не отрекся от образа его, данного в идеальном Кроте, и в годы 60-е, несмотря на начавшуюся уже разницу в убеждениях.

Кто же он такой, этот «любимый и страстный поэт, страстный к страданию», поэт с «темными неудержимыми влечениями и порывами», как говорил о нем Достоевский, с характером замкнутым, почти мнительным, осторожным —

и в то же время полный глубочайшей любви к народу и благоговения перед истиной? В чем же сущность противоречивого его духа? Если Некрасов, как говорит Достоевский в его некрологе, так «много занимал места в его жизни во все эти тридцать лет, как поэт»,⁴⁸ то столько же места занимал он и как человек, как лицо; «ибо всякий, кто бы вы ни были, — читаем мы в некрологе же, — несомненно придете к заключению, чуть лишь размыслите, что заговорив о Некрасове, как о поэте, действительно никак нельзя миновать говорить о нем, как о лице, потому что в Некрасове поэт и гражданин до того связаны, до того оба не объяснимы один без другого, и до того, взятые вместе, объясняют друг друга, что, заговорив о нем, как о поэте, вы даже невольно переходите к гражданину, избежать этого не можете».⁴⁹

Именно в самом начале «последнего времени», сейчас же после приглашения в «Отечественные записки», пораженный внезапностью, неожиданностью этого столь знаменательного поворота, когда Некрасов снова захотел завязать старые «дружеские отношения», — именно тогда и должен был особенно пытаться Достоевский дать себе отчет: что же такое Некрасов как человек, как личность? В том самом номере «Дневника писателя», где собраны все указанные выше памятные моменты из его отношений с Некрасовым, Достоевский как раз и выделяет это «последнее время», когда опять стали видеть друг друга в связи с печатанием «Подростка».

Некрасов как поэт и Некрасов как человек, как лицо. Вечно — и временное в нем, общее, народное — и частное. Нам, столь далеким от той эпохи, очень легко отделить это *временное*, *частное* от его поэзии, вдохновлявшей на революционную борьбу столько поколений. Ценим безмерно его величайшие заслуги перед родиной, перед народом, перед нашей литературой. Но для его современников это было задачей очень сложной, и именно потому, что был он слишком на виду. Политические враги подчеркивали малейшее проявление в нем обычной человеческой слабости. В чем только его не обвиняли: и в корысти, в том, «что он способен охранять свои выгоды до нарушения справедливости», в душевной черствости, проявлявшейся в равнодушии к людям даже близким. В атмосфере лжи и клеветы протекала вся его жизнь. Злобные враги в яростной борьбе с его огромным влиянием на прогрес-

сивно настроенное молодое поколение так и кричали: «Вот ваш печальник народный! Пишет о чердаках и подвалах, призывает других к революции, а сам живет по-барски». Мы знаем теперь, что прав был Чернышевский, когда в письме к Пышину от 28 февраля 1878 года писал о Некрасове: «Он был честнее меня. Это буквально». Слово «честнее» преувеличенное, подсказанное чувством великой скорби по случаю его смерти. Но факты, которые он приводит, явно опровергают все скверные вымыслы о нем его противников. Врагам Некрасов отвечал: «Пусть клеветуют язвительнее». К родине, к русскому народу обращался он за праведным судом:

«Как человека забудь меня частного,
Но как поэта суди!»

«За каплю крови, общую с народом,
Прости меня, о родина, прости!»

Отвратительнее же всего был тот тон лицемерия, в котором писали о Некрасове в газетах и журналах, как только он умер. Его простили, его оправдывали, точно он нуждался в их оправдании. Тон и возмущил Достоевского. У него было в его личной жизни достаточно поводов, чтобы верить в противоречивость Некрасова. И вот он хочет не простить, не оправдать, а разгадать ее тайну. Он создает и сейчас образ искаженный, черты его деформирует до неузнаваемости. Но нас интересует здесь не личность Некрасова в биографической ее достоверности, а в восприятии ее Достоевским, поскольку она нужна для понимания одного из центральных его персонажей.

Некрасов молил родину: «Как поэта суди!» В речи, произнесенной на похоронах, у раскрытой могилы, с суда над ним как поэтом Достоевский и начал. Великим поэтом назвал он его, поставил его рядом с Пушкиным и Лермонтовым. Как и они, — сказал он, — Некрасов тоже пришел в нашу поэзию с «новым словом», вот почему никто, даже такой огромный поэт, как Тютчев, «никогда не займет такого видного и почетного места в литературе нашей, какое бесспорно остается за Некрасовым».

И заключается оно, это «новое слово» его, в том, что он, «печальник народного горя», так много и страстно гово-

ривший о горе народном, всем существом своим преклонялся перед народной правдой, своей непосредственной силой любви к народу постиг «и силу его и ум его», уверовал и в будущее предназначение его.

И именно потому, что Некрасов — великий поэт, народный поэт, всем столь близкий и всех столь сильно волновавший, Достоевский возмущен поведением прессы в связи со смертью и похоронами его, этими «намекками и соображениями» во всех газетах, «во всех без изъятия», о какой-то «практичности» Некрасова, «о каких-то недостатках его, пороках даже, о какой-то двойственности в том образе, какой он нам оставил о себе». Газеты «пускаются... оправдывать его». «Да в чем же вы оправдываете? И нуждается ли он еще в наших оправданиях?» — ставится Достоевским вопрос в упор. Оправдать — значит признать его вину. Виновен ли он? Несколько лет тому назад, как мы видели, Достоевский сам был в лагере обвиняющих, обвинял, как враг, зло, грубо и жестоко. Но теперь он хочет только *понять*. Не «соображения», не «намекки», столь оскорбительные для памяти Некрасова. О нем, как о личности, надо говорить прямо, смело и открыто.

И вот концепция личности Некрасова так, как она рисовалась Достоевскому.

Уже в юности, когда они только что познакомились и сблизились, говорит Достоевский, он уловил в Некрасове «иные темные неудержимые влечения духа, преследовавшие его всю жизнь»; «темные порывы духа сказывались уже тогда». И связаны они с его детством: «Это именно, как мне разом почувствовалось тогда, было раненное в *самом начале жизни сердце*, и рана эта никогда не заживала... «Он говорил мне тогда со слезами о своем детстве, о безобразной жизни в детстве, о своей матери — мученице». Член случайного семейства, «оставленный единственно на свои силы и разумение», с темными порывами, с ранним в самом начале жизни сердцем, — таким приходит к людям Некрасов. Это из его некролога.⁵⁰

И теперь: как объясняет Достоевский образ Аркадия из «Подростка»?

«Я взял душу безгрешную, но уже загаженную страшной возможностью разврата, раннюю *ненавистью* за ничтожность и случайность свою и тою широкостью, с которой *целомудренная* душа уже допускает сознательно

порок в свои мысли, уже лелеет его в сердце своем, любит его еще в стыдливых, но уже дерзких и бурных мечтах своих, — все это, оставленное единственно на свои силы и на свое разумение. Все это выкидыши общества, «случайные» члены «случайных» семей». ⁵¹

Осенью, в конце августа, появляются впервые в Петербурге юный Некрасов и юный Подросток, Аркадий Долгорукий, чтобы скорее «ступить свой первый шаг». И оба они, как представляет себе Достоевский, одержимы одним и тем же демоном: «ранней ненавистью за ничтожность и случайность свою», той же «идеей отгородиться от людей, стать независимыми» при помощи единственного средства — богатства.

Приводится в некрологе одно из самых ранних стихотворений Некрасова: ⁵²

Огни зажигались вечерние,
Был ветер и дождик мсчил,
Когда из Полтавской губернии
Я в город столичный вхсдил.
В руках была палка предлинная,
Котомка пустая на ней,
На плечах шубенка овчинная,
В кармане пятнадцать грошей.
Ни денег, ни званья, ни племени,
Мал ростом, по виду смешон.
Да, сорок лет минуло времени —
В кармане моем миллион.

Вот где суть мрачной и мучительной половины жизни нашего поэта, «предсказанная им же самим, еще на заре дней его, в этом одном из самых первоначальных его стихотворений, набросанных кажется, — считает нужным добавить Достоевский, — еще до знакомства с Белинским». ⁵³

Здесь прежде всего чувство гордости: «Робкая и гордая молодая душа была поражена и уязвлена, покровителей искать не хотела, войти в соглашение с этой чуждой толпою людей не желала». И еще раз повторяется Достоевским, мысль углубляется и расширяется: это был «демон гордости, жажды самообеспечения, потребности оградиться от людей твердой стеной и независимо спокойно смотреть на их злость, на их угрозы».

И дальше: «Это была жажда мрачного, угрюмого отъединенного самообеспечения, чтобы уже не зависеть ни от кого. Я думаю, что я не ошибаюсь, я припоминаю кое-что

из самого первого моего знакомства с ним; по крайней мере мне так казалось потом всю жизнь. Жажда мрачного угрюмого отъединения, потребность оградиться от людей твердой стеной — так ответила на жизнь робкая и гордая молодая душа, пораженная и уязвленная детством своим и бесприютной своей юностью. Не то чтобы неверие в людей зажглось в сердце его столь рано, но скорее скептическое и слишком раннее чувство к ним. Пусть они не злы, пусть они не так страшны, как об них говорят, но они все, все-таки, слабая и робкая дрянь, а потому и без злости погубят, чуть-чуть дойдет до их интересов. Вот тогда-то именно, в самые ранние годы юности, и начались мечтания Некрасова, тогда же, на улице, может быть, и сложились стихи: «в кармане моем миллион».

А идея Подростка: «Моя идея — стать *Ротшильдом*, стать так же богатым, как *Ротшильд*». «Зачем, для чего, какие я именно преследую цели? Читатель разочаруется. Пусть знают, что ровно никакого чувства «мести» нет в целях моей идеи, ничего Байроновского, ни проклятия, ни жалоб сиротства, ни слез незаконнорожденности, ничего. . .»⁵⁴

И дальше Подросток продолжает совершенно по молодому Некрасову, разумеется в интерпретации Достоевского: «Вся цель моей идеи — уединение, твердой стеной отгородиться и спокойно смотреть на их злость, на их угрозы». . . «Не месть и не право протеста явился началом моей идеи». . . Ведь люди вовсе не так злы и не так страшны, а только «слабая и робкая дрянь». . . «С 12 лет, я думаю, я стал не любить людей. Не то что не любить, а как-то стали они мне тяжелы. И я стал искать уединения. К тому же я не находил ничего в обществе людей, как ни старался: все мои товарищи, все до одного оказывались ниже меня мыслями; я не помню ни единого исключения».

Или еще так: «Из трех родов подлецов на свете, просто подлецов, чистокровных подлецов, действительно злых и страшных мало»; большинство же, именно «слабая и робкая дрянь», погубят без злости, чуть дойдет до их интереса, — это «или подлецы наивные, т. е. убежденные, что их подлость есть высочайшее благородство, или подлецы стыдящиеся, т. е. стыдящиеся собственной подлости, но при непременном намерении все-таки ее докончить».⁵⁵

Подросток говорит о себе: «Я сумрачен. Я беспрерывно *закрываюсь*. . . Я не люблю никаких сношений и ассоциаций с людьми. . . Я не вижу ни малейшей причины им делать добро, и совсем они не так прекрасны, чтобы о них так заботиться». Робкая и гордая молодая душа сознается: «Я может быть в тысячу раз больше люблю человечество, чем вы все, вместе взятые, и может быть и буду делать добро людям, но мне нужно прежде всего свободы и независимости от этих слабых, которые и без злости погубят, чуть-чуть дойдет до их интереса». ⁵⁶ Деньги — единственный путь к уединению, к этой свободе.

В некрологе сказано про Некрасова ⁵⁷: «Но этот демон — «в кармане моем миллион» — идея отъединенного самообеспечения, чтобы оградиться от людей, спокойно смотреть на их злость, на угрозы — *все же был низкий демон. Золото — грубость, насилие, деспотизм. Золото может казаться обеспечением той слабой и робкой толпе, которую Некрасов сам презирал. Неужели картины насилия и потом жажда сластолюбия и разврата могли ужиться в таком сердце?*»

Этот же риторический вопрос ставит себе и Подросток: ⁵⁸ «Вы думаете, что я желаю могущества, чтобы непременно давить, мстить?» И отвечает: «в том-то и дело, что так непременно поступила бы *ординарность*. Мало того, я уверен, что тысячи талантов и умников, столь возвышающихся, если бы вдруг — навалить на них ротшильдовские миллионы, тут же не выдержали бы и поступили бы как самая пошлая ординарность и давили бы пуце всех. Моя идея не та. . . Мне не деньги нужны, а *уединенное сознание силы, — свободы*». «Я съем кусок хлеба и ветчины, и буду сыт моим сознанием. Я знаю, что у меня может быть обед, как ни у кого, и первый в свете повар, с меня довольно, что я это знаю. . . Не я буду гоняться за женщинами, а они побегут, как вода, предлагая мне все, что может предложить женщина. . . Я буду ласков с ними, дам им денег, но сам от них ничего не возьму».

Вариация на тему некрасовского «демона» в истолковании Достоевского контаминирована с демоном «Скупого рыцаря», бытовое оформляется в романтику: «Я еще в детстве выучил наизусть монолог «Скупого рыцаря» у Пушкина; выше этого, по идее, Пушкин ничего не производил». «С меня довольно сего сознания» — вот чистый идеал «уединения от злой и робкой толпы, который вы-

несла в своих мечтах гордая молодая душа, угрюмая, одинокая, пораженная и уязвленная еще в детстве».

В некрологе: «Нет, не картины насилия, не месть, не грубый деспотизм, не жажда сластолюбия и разврата пленили сердце Некрасова, сердце этого человека, который бы сам мог воззвать к иному: «брось все, возьми посох свой и иди за мной»... «Но демон все же ослабл, и человек остался на месте и никуда не пошел».

Подросток в мечтах своих осиливает своего демона, берет посох свой и уходит, и бросает обществу, этой слабой и робкой дрянью, всё. Всё — не половину, «потому что тогда бы вышла одна пошлость»: он стал бы только вдвое беднее и больше ничего, — но именно всё, всё до копейки, потому что, «став нищим, он вдруг стал бы вдвое богаче Ротшильда». ⁵⁹

Но было у Некрасова, говорится дальше в некрологе, немало таких «подавляющих фактов из текущей действительности», перед которыми слабела власть демона и проявлялась «гуманность», нежность этой «практичной» души. «Г. Суворин уже публиковал нечто, я уверен, что обнаружится много и еще «добрых свидетельств», не может быть иначе». Значит — «в кармане моем миллион» — это только некая мера самозащиты, жизненный принцип, вовсе не вытекающий из основ его души, а навязанный, точно извне, окружающей действительностью.

А в «Подростке» иллюстрируется то же самое вставным эпизодом о девочке Риночке, на которую потрачено было больше половины капитала, скопленного для начала. И вывод такой: «Из истории с Риночкой выходило, что никакая «идея» не в силах увлечь (по крайней мере, меня) до того, чтоб я не остановился вдруг перед каким-нибудь подавляющим фактом и не пожертвовал ему разом всем тем, что уже годами труда сделал для «идеи». ⁶⁰

Я перебрал все черты некрасовского портрета в молодости, нарисованного Достоевским в некрологе и черты портрета Подростка, каким он нарисован в пятой главе первой части романа, там, где Подросток рассказывает о своей «идее», и нахожу между ними совпадения. ⁶¹

Конечно, портрет, в том виде, в каком он дан в некрологе и в «Подростке», абсолютно не верен, он нарисован слишком субъективно, краски крайне сгущены; по

обычному методу рисовавшего отвлеченно от в высшей степени сложного облика лишь несколько черт; искаженные, они деформированы до неузнаваемости. Это в сущности не более как плод воображения художника, искавшего некоей реальной опоры для задуманного типа молодого человека из «случайных членов случайных семейств, предоставленных всецело на свои собственные силы». Но для нас важен здесь не доподлинный Некрасов, а такой, каким именно воспринимал его Достоевский, тоже «в высшей степени член случайного семейства», сын заурядного лекаря и внук священника. Себя видел он в нем; подобно Некрасову и Подростку тоже ведь мечтал в молодые годы о богатстве и независимости, тоже был одержим не меньше, чем они, их же демоном. Да и начал свой жизненный путь, как Некрасов, тоже «литературным пролетарием», с той же готовностью заниматься чем угодно: переводами, изданием сборников, газетной работой, корректурой — решительно всем, что только может принести какой-либо доход.

Повторяем: только с этой стороны нас здесь и интересует личность Некрасова в восприятии Достоевского, только поэтому мы и остановились на его некрологе, в той его части, где Достоевский «судит» Некрасова не как поэта, а «как человека частного». Биографы вообще совершают большой грех, когда копаются в личной жизни большого человека, поскольку вещи, язвения, лица должны оцениваться нами с точки зрения их общественной стоимости. Недаром Горький так негодует против любителей отыскивать во всяком крупном деятеле слабые его стороны; они рады приравнять его к себе и тем себя оправдать.

Великий поэт, народный поэт, «страстный к страданию народа» и к «народной правде», — такой Некрасов нам дорог и ценен. Таким, как мы видели, считал его и Достоевский.

IX

Подросток дан пока только в уединенности своих мечтаний о богатстве, почти еще вне всякого участия в сюжете. «Побольше ему роли» — последует вскоре авторская заметка.

И начинается снова плетение фабулы, но — замечательно — уже без идеального «атеиста», без Федора

Федоровича: идеи его, как увидим дальше, частью перейдут и к Версилову, но уже в несколько иной эмоциональной окраске, частью, вместе с чертами характера, — к Васину, члену кружка долгушинцев. Опять появляется старый князь, однажды упомянутый лишь вскользь, будущий старший Сокольский, и рядом с ним князь молодой, но уже не старинного рода Голицын, а какой-то захудалый «князек», очевидно будущий Сергей Сокольский. Старинная княжеская фамилия останется: вместо Голицына — Долгорукий, но дана она будет странствующему Макару, *крестьянину*, носителю идеи «благообразия» — «*аристократу духа*», а не «плоти». Мысль приблизительно та же, что у Льва Толстого: дворянин тот, кто, работая на земле, живет «по-божески». В окончательном тексте, как и в черновиках, эта мысль иллюстрируется тем, что старец Макар гордится своей княжеской фамилией, достоин носить ее. А Подросток, которому дано постичь «благообразие» старца лишь в конце романа, — а пока он знает преимущественно «падения», «низости», — стыдится фамилии своей, намеренно подчеркивает низкое свое происхождение.

«Князек», а не князь: ему надо дать роль пошловатого фата, умственно и морально крайне ограниченного. Сюжетная связь его с центральными героями в этот момент обнаженно вульгарная, почти бульварного характера. Идет на первых порах еще прежняя линия: у старого князя молодая жена. У нее какие-то таинственные сношения с «хищным типом», но в то же время она еще влюблена в молодого князя, которому, по одной версии, отдалась мачеха, жена «хищного типа», по другой — его падчерица Лиза. И дальше, чтобы ввести Подростка и рядом с ним Ламберта как символ «неодухотворенной материи», нравственной низости, фабула так осложняется: в канцелярии старого князя служит Подросток; ему попало в руки какое-то письмо княгини, очевидно любовное, к молодому князю. Ламберт узнает об этом письме и хочет шантажировать княгиню; с ним соединяется не то сам Он, «хищный тип», не то Подросток; оба хотят ее погубить: «хищный тип» за то, что она чем-то его оскорбила, или из чувства ревности; Подросток — под влиянием своей идеи о богатстве — чтобы разделить с Ламбертом те 30 000, которые она должна дать за найденное письмо. Но может быть еще и такой мотив. Подросток зол на нее за брата, хотя

сам втайне, в грешных мечтах своих, уже пылает к ней неодолимой страстью.

Художник, очевидно, не боится этой бульварщины: в свое время будут найдены средства к ее смирению. А главное, каждое из действующих лиц будет настолько полно идейного смысла, что грубость сюжетной ткани сама собой перестанет ощущаться. В окончательной редакции, где использованы эти мотивы почти все, так оно и получается.

Внимание на время сосредоточивается на второстепенных персонажах и прежде всего на образе старого князя, восходящего к образу, однажды уже выявленному в ранний период творчества Достоевского, в «Дядюшкином сне». Князь уже здесь сразу обрисован близко к печатному тексту с его основной смысловой функцией: пародировать всю сложность идеологических исканий «хищного типа». Это тот же прием контраста, который начинается уже в «Двойнике» (Голядкин старший и Голядкин младший), ясно виден в «Преступлении и наказании» (Раскольников и Лужин), в «Карамазовых» (Иван и Смердяков или Иван и чорт), — старый романтический прием: глубина трагедийная воспринимается тем острее от сопоставления с плоским и пошлым самодовольством, если образы показаны на аналогичной психической или идейной основе. Уже здесь сказано, что старый князь несколько времени тому назад болел разжижением мозга, с тех пор он стал легкомыслен и остроумен, любит «бонмо». И вот он смеется над тем, что «хищный тип» так беспокоится о будущем земли: «пусть себе летают ледяные камни, меня-то ведь не будет». Он «наслышался атенстов и стал атенстом»; издевается над «разлитым духом»: «что это, жидкость что ли?» и т. д.

Начинает сейчас несколько конкретизироваться и образ мачехи, жены «хищного типа». Образ становится глубже, идейнее; она все более и более приближается к образу матери Подростка в окончательном тексте: любит всех из сострадания, «вечная мать», «вечная жертвочка». Очевидно, се-то идеальная сущность и обусловила здесь первоначальную попытку художника (от которой он сейчас же и откажется) представить «молодого князька» в таком свете: «молодой князек» — ее возлюбленный — не обыкновенный тип, а «простодушнейший и прелестно-обаятельный характер». Это был бы контраст томительной сложности противоречивой души «хищного типа». И в этом бы заключалась его притягательная сила. Задача должна была

казаться тем более осуществимой, что в художественном прошлом Достоевского такой опыт уже был: в «Униженных и оскорбленных» возлюбленный Наташи, Алеша Волковский, противостоящий угрюмой сложности Ивана Петровича. Но попытка эта оказалась автору с самого начала сомнительной. «Победить эту трудность» — следует тут же авторская заметка. «Трудность» очень скоро представится непобедимой, и начнется работа над образом «князька» в сторону совершенно противоположную, так, как он дан в окончательном тексте: вместо простодушия — тупая ограниченность, характер не «прелестно-обаятельный», а мучительно-тяжелый. Но пока внимание сосредоточено не на нем.

Здесь нужно особенно отметить следующую запись: «Может быть Лизу совсем не надо», т. е. не надо в той роли, в которой она до сих пор появлялась: 13-летней девочкой, соблазненной своим отчимом, «хищным типом». «Тогда ей 24 года и она с князем», — как и в окончательной редакции.

Запись эта о Лизе пока одинокая. Через несколько страниц мы снова будем иметь старую ситуацию в отношениях между нею и «хищным типом». Несмотря на всю сложность идеологических исканий «хищного типа», переданных ему из поэмы «Атеизм», родство его в плане сюжетном с образом Ставрогина еще долго будет владеть художественным воображением автора, и в такой же мере — и тема ставрогинской «исповеди». Но это момент все же какой-то поворотный: впервые заколебалась основа этой старой неиспользованной темы, и мысль получает некую свободу для новых сюжетных комбинаций. Продолжает в дальнейшем колебаться прежде всего возраст Лизы: временами она, как и Подросток, тоже «уже не дитя», а «появляется лишь неготовым человеком».

Возможен еще такой вариант: сюжетно, поскольку намечается ослабление ее связи с «хищным типом», не усилить ли ее связь с другим центральным героем, с Подростком? Лиза не то ненавидит Подростка, «дерется с ним», не то влюбляет его в себя и сама в него влюбляется, не то только играет с ним. По старой ситуации, в пределах темы ставрогинской «исповеди», она для «хищного типа» — его «красный жучок», символ его раскаяния, его душевного переворота. В этом и смысл ее роли. Теперь она может сыграть подобную роль в жизни Подростка. Перед самоубийством, — держится все еще версия, что Лиза пове-

силась, — она оставляет письмо Подростку, в котором его одного «выбирзет в исполнители своей последней воли». Это и послужило причиной нравственного его возрождения: «Значит, я способен на хорошее, если она одного меня выбрала в исполнители своей воли», — думает он.

А падал Подросток под влиянием «хищного типа», который пока все еще приходится ему братом. По одной версии, более ранней, старший брат «намеренно развращает его, тонко льстит ему, чтобы сбить с толку и насмешливо погубить гордостью»; по другой — когда связь Его с образом Ставрогина еще более слабеет и еще явственнее выделяются черты, восходящие к старому замыслу «Атеизма», — Его вина, как и в окончательном тексте, только косвенная; в поисках «благообразия» Подросток не находит в Нем опоры, так как он видит перед собою человека великой мысли, раздираемого внутренними противоречиями и в колебаниях своих глубоко страдающего, но без тех нравственных устоев, которые дает одна только вера: безразлично в бога или в будущее «хрустальное царство без богов и храмов», лишь бы человек был проникнут своей верой до конца. Опять и опять звучит, как лейтмотив, основная тема: борьба христианства с атеизмом, потеря веры и жажда этой веры. Символ «рубит образа» повторяется все чаще и чаще: «Проповедуя изо всех сил христианство, свободу и будущую жизнь, Он, оказывается, сам ничему не веровал и был глубоким атеистом в душе, всегда с начала своей жизни, тем и мучился».

Но там, где атеизм, для человека высоких помыслов неминуем и вопрос о будущей социальной революции. Если нет бога, то человечество должно перестроить свою жизнь на свой страх и риск, на началах разума. Тема революции начинает принимать уже новый характер. Раньше, когда по первоначальному плану еще мыслился в качестве одного из центральных героев идеальный Федор Федорович, «уверовавший в коммунизм», все эти «мировые вопросы» о боге и революции четко раздваивались между ним и будущим Версиловым так, что Федор Федорович принимал социализм полностью, радостно ожидал его прихода, оправдывая все средства борьбы за него, а Он, «хищный тип», свысока спорил с ним, со злорадством сбивал его в аргументах. Теперь же, с исчезновением Федора Федоровича, тема революции переходит уже к его антиподу, включается в сферу Его собственных мыслей и переживаний: революция

близкая и тревожная, как судьба, которая неминуемо ожидает человечество. Революция обязательно кончится победой четвертого сословия: «Уже прелюдию видели», — разумеется, конечно, Парижская коммуна. «Вам, — говорит Он Подростку, — вам, т. е. молодежи, надо готовиться, ибо вы будете участниками; время близко при дверях и именно тогда, кажется, так крепки миллионные армии, разрывные бомбы».

«Миллионные армии, разрывные бомбы» — ничто не поможет удержаться старому строю. Это уже язык не отвлеченно теоретический, а язык реальной действительности в ее острой классовой борьбе. Еще один шаг — и тема «социальная» появится в романе так, как она мыслилась и ставилась в условиях русской общественной жизни того времени.

Х

Приблизительно около середины июля устанавливается тот остов плана, о котором была речь в предыдущей главе, и таким он остается до конца месяца: вносятся лишь кое-какие мелкие детали в пределах его основы. Под августом мы имеем вдруг такую запись:

«1-е августа. ИДЕЯ. Не отец ли Он современный, а Подросток сын Его». Под записью в скобках: «Обдумаю». Одновременно с этим намечаются уже кое-какие композиционные принципы: «жестокый Его <хищного типа> разрыв и ссору с князем и княгиней обрисовать в начале романа; именно Он возвращает наследство в середине романа, вдруг, совсем неожиданно». И дальше: «Если Он отец, то выписан Подросток, и без того самовольно вышедший из Московского университета». — Это все ступени, приближающие нас к окончательному сюжету.

В этом же направлении и некоторые конкретные мотивы из поведения Подростка в Петербурге: «Ходит по менилам, по толкучему, обнюхивает, скупится, видится с Витей, обходит всех своих, но на проскты их (Америка, подменные грамоты) смотрит свысока, как имеющий свою идею. Ему говорят, что изменился, изменил своим убеждениям».

Через несколько строк ниже: «Товарищи Подростка меж тем попадают». Так вводится новая тема: связь Подростка с какими-то революционерами. Это и есть тот шаг, о котором мы говорили выше: тема «социализма», которая ставилась недавно в плоскости отвлеченной, лишь

как некий элемент в мировоззрении будущего Версилова, соединяется теперь с практикой русской действительности и начинает звучать сильнее и гораздо острее.

Шире кажется вся идея романа: «ИДЕЯ, — подчеркивает автор крупным почерком. — Отцы и дети — дети и отцы». «Ибо, — следует дальше пояснение, — сын, намеревающийся быть Ротшильдом, — в сущности идеалист, — т. е. новое явление, как неожиданное следствие нигилизма». Так, по Достоевскому, социализму, уничтожению частной собственности, устройству на земле, без бога, хрустального царства путем подчинения личных интересов интересам коллектива — противостоит идея Подростка: идея свободы и уединения, идея архиндивидуалистическая.

«Уничтожение собственности особенно поражает Подростка, первый даже разговор с Витей в этом смысле». Следует такая заметка: «Витя ничего не может объяснить ему и сводит с кем-то, в роде Долгушина, толкующих о нормальном человеке (их потом арестуют)». Он, т. е. Подросток, не соглашается с социализмом: «противос естественно». Идея — это область Его, будущего Версилова. Подросток к нему и обращается. Тот доказывает «ненатуральность социализма», и «Подросток смеется от удовольствия». Но версильовская широкость сейчас же сказывается: «заметив это, Он тотчас же сбивает Подростка величиною идеи социализма. Подросток некоторое время даже увлечен».

Долгушин, долгушинцы, к которым принадлежат и Васин и Крафт, — будущий Версильов всех их называет «монахами, идеалистами», — встречаются очень часто в черновых записях 1-й тетради. Очевидно, первоначально они должны были играть в романе роль весьма активную. Имеется несколько записей о том, что вместе с ними арестуется и Подросток. Идейные столкновения Васина с будущим Версильовым происходят непосредственно. Васин знает что-то об Его революционном прошлом. Попадаются, как увидим дальше, намеки на Его личные связи с Герценом.

И вот тема «отцы и дети» получает уже какой-то новый смысл: это как бы два поколения революционеров. Дети, долгушинцы, «идут в народ и верят в ближайшую осуществимость мировой социалистической революции». Замечательно, что в некоторых дальнейших записях будущий Версильов будет посылать в народ и Подростка. Необязательно даже верить, что «революция уже теперь может к чему-нибудь послужить». Васин, идеальный атеист, по пер-

вому варианту воспринявший по наследству от идеального учителя, Федора Федоровича, не одно только его «спокойствие и холодность», Васин, как говорит про него автор, «образец и *разума*, и *логики*, и *сердца*», тоже не верит в немедленную осуществимость революции. Если ориентироваться на революционное движение той эпохи, то Васин последователь не Бакунина, а Лаврова, он не верит и все же считает, что надо заниматься революцией, «так как иначе заниматься нечем; выгоды прямой — никакой, разве то, что идея поддерживается, примеры указываются и получается непрерывный опыт для будущих революционеров. Это уже одно стоит того, чтоб не покидать идею; разом ничего не делается». Когда же Подросток пробует возражать, что «можно просто быть гражданином, желая добра, заняться наукой, учить, способствовать санитарной части» (последнее звучит уже по адресу либералов, несколько пародийно), то Васин на это отвечает весьма убедительной аналогией современного общественного строя с «чрезвычайно большой, из стали, чугуна, дерева, машиной, в которой всякая в ней часть связана с другой не сложными спаями или винтами, а клейстером или сахарными веревочками, всего, стало быть, на одну секунду: ветер дунет и все рассыплется. Можно ли в таком случае взять на себя какую-нибудь работу при машине, когда знаешь, несомненно, что все через секунду рассыплется? где рвения найти? Разве для того, чтобы деньги брать. Нет, уж лучше работать, чтобы машина поскорей рассыпалась, а там уж свою завести покрепче». Показательно, что на это никто Васину прямо не возражает, даже Он, будущий Версиров.

Правда, в одном месте будущий Версиров пытается отвести Подростка от идеи социализма, как от идеи временной, второстепенной; но по существу вовсе ее не отрицает. Он говорит Подростку: «Я буду знать все открытия точных наук и через них приобрету бездну комфортных вещей, теперь сижу на драпе, а тогда все будем сидеть на бархате, ну и что же из этого? Все же остается вопрос: что же тогда делать? При всем этом комфорте и бархате для чего собственно жить, какая цель? Человечество возжаждет великой идеи. — Я согласен, что накормить и распределить права на корм человечеству в данный момент есть тоже великая идея... Но идея второстепенная и подчиненная, потому что после корма человек непременно спросит, для чего мне жить».

В чем состоит эта великая идея, *главная*, не подчиненная, а подчиняющая, — не указано. Версилов, в этой стадии развития его образа, еще сам ее не знает. Пока он еще скептик и циник, ни во что не верующий, и только умеет намеренно и грубо опошлять стремление лучших людей к будущему счастливому общественному строю, к социализму. А все же аналогия русского государства или буржуазного общества в целом с рассыпающейся машиной, склеенной клейстером, остается неопровергнутой.

Замечательно, что рядом с автором этой аналогии, с Васиным, Достоевский втягивает в кружок долгушинцев еще одного революционера, очевидно особенно поразившего внимание художника. О нем такая запись: «Между молодым поколением не забыть лицо молодого человека, богатого помещика, учившегося в работниках у немца на фабрике, на техническом заводе. (Настойчивость)». Источник, откуда взят этот революционер, здесь же указан: «Гражданин, 19 августа, Письмо А-ра» (Порецкого). Порецкий, путешествовавший летом 1874 г. по югу России, так рассказывает об этом молодом человеке: «В известной колонии Хортице, в Александровском уезде, есть фабрика земледельческих орудий. Когда я в последний раз был там, вечером, вижу, на двор фабрики въезжает щегольской тарантас, запряженный тройкой превосходных лошадей. — Что за экипаж? — спрашиваю хозяина. — Это за одним из моих рабочих. — Как? за рабочим? — Один соседний помещик, богатый помещик, молодой человек, захотел быть у меня рабочим. — Что же это? От нечего делать, поиграть молотом для собственного увеселения? — О, нет! — воскликнул хозяин с некоторой торжественностью: — отличный работник. Он, конечно, не берет платы, а пожелай, я бы положил ему по меньшей мере 20 рублей в месяц. Вот он сейчас переоденется и выйдет, вы его увидите. — Действительно через четверть часа показался прилично одетый и очень, видно, молодой человек, сел в тарантас и покатил со двора».

Недалекий Порецкий с изумлением добавляет: «Так вот какие у вас заводские работники!» Но смысл и цель ясны, зачем Достоевский втягивает в кружок революционеров «лицо этого молодого человека». Это особенная, совершенно новая разновидность среди молодежи, человек, гораздо более трезво вглядывающийся в ближайшее будущее. Его новые убеждения сказываются в том, что он советует обратить особое внимание на техническую часть:

«примись у нас во всей России хотя бы только одна техническая часть хорошо, то уже произойдет переворот, революция, несравненно сильнейшая и успешнейшая, чем все ваши обращения к народу». Но революционер ли он? Достоевский настаивает на этом. «ОТЧАСТИ СПЕШНЕВ» — прибавляет он о нем. Так ассоциируется твердо кружок долгушинцев с обществом петрашевцев, среди которых Спешнев не был фюреристом и действительно был гораздо менее других подвержен влиянию утопического социализма; роль и поступки его отличались наибольшей практичностью и политической дальновидностью.⁶²

XI

Долгушинцам, говорилось в предыдущей главе, судя по первоначальным записям 1-й тетради, готовилась в романе роль весьма активная. Что же знал о них Достоевский? И из того, что знал, как и что он использовал?

Дело долгушинцев слушалось в Сenate с 9 по 15 июля 1874 г., и подробные отчеты печатались во всех крупных газетах: в «Правительственном вестнике»,⁶³ «Голосе», «Московских ведомостях», «Петербургских ведомостях» и т. д. Не знаем точно, по какой газете Достоевский, находившийся в это время в Эмсе, впервые знакомился с процессом: по «Голосу», «Московским ведомостям» или по какой-нибудь другой газете. Хотя, в сущности, это безразлично, так как отчеты в других газетах почти ничем не отличались от отчета в «Правительственном вестнике». Для нас же важен самый факт: стремление Достоевского использовать этот процесс уже в самом начале работы над романом, еще в Эмсе. Свидетельствует об этом письмо к Пууыковичу от 18 августа 1874 г.⁶⁴

«Две недели назад, — читаем мы в этом письме, — в бытность мою проездом в Петербурге... вы так обязательно обещали мне собрать по газетам процесс Долгушина и К°. №№ эти (с процессом) мне капитально нужны для того литературного дела, которым я теперь занят». Две недели назад, проездом из Эмса в Старую Руссу, значит, уже в Эмсе сюжет «Подростка» мыслится в какой-то связи с этим процессом. Очевидно, долгушинцем должен был стать второй главный герой, «боец за правду», будущий Аркадий Долгорукий. Выше уже были приведены записи о том, что будущий Версиров советовал ему идти в

народ, и что его, Подростка, тоже арестуют вместе с другими долгушинцами.

Роль долгушинского процесса сведена в окончательном тексте лишь к побочному эпизоду, и в соответствии с этим так же использована и фактическая сторона процесса. Но то, что процесс все же использован, и, главное, как использован, каким светом освещены действующие в нем лица — и не только в лаборатории автора, в черновиках, но и в печатном тексте, для широкого читателя, — это в высшей степени характерно. Характерно тем более, что несколько лет назад долгушинцы, — как сам Долгушин, так и целый ряд других лиц, привлеченных по его же делу, — были среди тех, которых Достоевский назвал «бесами», среди нечаевцев, и он, конечно, должен был знать это из газет, в которых печатался обвинительный акт по делу Нечаева, в частности касающийся пятой категории подсудимых — «Сибиряков». В судебном отчете приведен устав, написанный Долгушиным, явно свидетельствующий о том, что кружок «Сибиряков» полностью разделял программу «Народной расправы», был, в сущности, одной из ее «секций».

«Организуется общество тайное из людей, желающих перемены настоящего порядка, который поддерживается административным устарелым механизмом; следовательно, если этого механизма не уничтожить, то настоящее, имеющее быть народное восстание будет подавлено. Для этого и организуется общество, чтобы помешать администрации подавить восстание; а так как администрацию представляют немногие лица, держащие *de facto* все в своих руках, то этих-то лиц и уничтожить. Императорская фамилия управляет только *de jure*, но зато она дает всегда возможность существовать лицам, которые держат все в своих руках, поэтому, если будет возможно, то уничтожить и императорскую фамилию, но только в этом случае неслепое условие, если будет возможно, уничтожить всех членов династии. Если же хоть один останется, то нечего и приниматься, потому что тогда старый порядок будет восстановлен во всей силе. Общество начнет действовать и изыскивать средства на выполнение своей цели тогда, когда достигнет 200 человек, действовать же начнет только во время восстания народа». И дальше: «Общество организуется посредством *десятков*, из которых первый составляет центр, причем *нижние центры* не знают *высших*. Обязанность членов *десятков* — самый осторожный набор

новых членов до тех пор, когда начнется повсеместное народное восстание». ⁶⁵

Народное восстание. А для того, чтобы оно не было подавлено, необходимо уничтожить всю администрацию и всю императорскую фамилию; организация десятков, таких же тайных и друг от друга обособленных, как и нечаевские пятерки. — Повторяем: два года тому назад долгушинцы тоже были бы в числе «бесов», которые «вошли в стадо свиней». Можно бы думать, что забыл Достоевский об этой их связи с кружком Нечасва. Но о ней два раза упоминалось на самом процессе долгушинцев. Очевидно, при всех изменениях замысла и сюжета в ходе работы над романом, одно оставалось неизменным до конца, до окончательной редакции — стремление показать в какой-то мере иное уже отношение к революционной деятельности молодежи: это уже не бесовское навождение. Расхождение в целом рядов пунктов — да, конечно, и коренное расхождение. Но какая-то правда у них есть, как и искренняя и глубокая любовь к человечеству, по крайней мере, у самых активных из них и прежде всего у самого Долгушина. Говоря словами будущего Версилова, «монахи», «идеалисты» второстепенную идею принимают за главную, — задача их все же великая.

Но перейдем к самому процессу, к самому факту использования его в 3-й главе первой части «Подростка» окончательного текста. ⁶⁶

Долгушинцы обвинялись «в составлении преступных воззваний, в напечатании и распространении их с целью возбуждения населения к бунту». Всего было три воззвания: 1) «Как должно жить по закону природы и правды»; 2) «Русскому Народу», с эпиграфом из Евангелия от Матвея: «Ищите и обрящете, стучите и отверзется вам, ибо всякий, кто ищет — находит, и стучащемуся отворяют», и 3) «К интеллигентным людям». Первая прокламация представляет собой почти точную перепечатку, с некоторыми лишь сокращениями, брошюры Берви-Флеровского: «О мученике Николае и как должно жить человеку по закону правды и природы». Вторая повторяет ту же тему и в основном развивает те же мысли, но на языке более простом и доступном крестьянскому читателю. В третьей прокламации — призыв к интеллигенции, к ее больной совести и к чувству неоплатного долга перед народом. Идея центральная во всех трех прокламациях — идея равенства и братства. Во второй она конкретизируется в виде следую-

щей программы: крестьянству необходимо объединиться против помещиков и царя, чтобы уничтожить оброки, поделить землю между всеми трудящимися, заменить постоянное войско народной милицией, устроить для всех хорошие школы, уничтожить паспорта, и «самое важное требование» — чтобы правительство выбиралось самим народом, которому оно должно будет во всем давать отчет.

В судебном отчете и в судебных прениях возбуждение нагеления к бунту против царя было выдвинуто как самое главное обвинение, так что у Достоевского должно было получиться представление о гораздо большей революционности кружка, чем это было на самом деле.

К ответственности было привлечено 13 человек. Из них пятеро: Долгушин, автор прокламаций, он же главный организатор кружка, инженер Дмоховский,* о котором прокурор говорил как о главном идейном вдохновителе (он-то и есть, повидимому, тот богатый помещик, работавший у немца на техническом заводе, «отчасти Спешнев»), бывшие студенты Папин и Плотников, участвовавшие в печатании и распространении прокламаций, и учитель Гамов, передавший несколько экземпляров прокламаций рабочим одной из подмосковных фабрик. Все они приговорены к каторжным работам (от 5 до 10 лет) с лишением всех прав состояния. Ананий Васильев, раздававший прокламации по деревням, дал «откровенные показания» и отделался сравнительно легко. Еще более откровенные показания дала жена Долгушина, окончившая акушерские курсы, и дело о ней было прекращено. Остальные: Сахарова, бывшая прислуга, сожительница Дмоховского, учительница Александра Ободовская, сын священника Авессаломов, у которого были найдены прокламации долгушинцев в единичных экземплярах, сын купца Эмилий Циммерман, к которому Ананий Васильев обратился за помощью незадолго до своего ареста, и Василий Сидорацкий отделались арестом (от 3 дней до месяца). Студент Чиков, передавший прокламацию Ободовской, получил 2 месяца ареста с отдачей на 2 года под надзор полиции.

В судебном отчете рассказано подробно о начале деятельности кружка. Собирались на квартире у Долгушина,

* Через два года имя его станет особенно известным в связи с процессом Веры Засулич: за избивание его и наказание розгами она стреляла в генерала Трепова.

на *Петербургской стороне* в доме Мерка. В черновых записях к роману и в окончательном тексте кружок тоже собирается на *Петербургской стороне* в квартире *главного организатора*. В печатной редакции ему дается фамилия «Дергачев» (не потому ли именно, что он — главный, дергает все нити?).

Дергачеву, как и Долгушину, 25 лет. О Дергачеве говорится, что это был техник и имел в Петербурге занятие. Техником был и Долгушин, заведывал жестяной мастерской купца Верещагина. «Дергачев среднего роста, широкоплеч, сидный брюнет, с большой бородой; во взгляде его была сметливость и во всем сдержанность, некоторая беспрерывная осторожность». Это почти точный портрет Долгушина: в судебном отчете он — молодой мужчина, невысокого роста, с черной бородой. Сдержанность и осторожность он проявлял на суде больше всех.

В романе: «В комнате, куда пришел Подросток, было человек семь, а с дамами человек десять». Если исключить из тринадцати, привлеченных к суду, Циммермана, Сидорацкого и Авессаломова, как почти совершенно непричастных к делу, то действительно столько и остается.

По роману: участвует в спорах одна лишь жена Дергачева (Долгушина), другие две дамы «очень слушали, но в разговор не вступали». Сахарова, бывшая прислуга у родителей Дмоховского, — человек малокультурный, идейно не была связана с долгушинцами, а Ободовская тоже стояла далеко от кружка.

Среди мужчин у Достоевского выделены, кроме Дергачева, двое: «высокий, смуглый человек, много говоривший, лет 27» и «молодой парень моих лет <Подростка, которому было 18 лет>, в русской поддевке... Он оказался потом из крестьян». Первый — это Папин, 26 лет, во время судебного разбирательства все сбивался на разные теоретические темы, по выражению обвинителя, «пользовался каждым удобным случаем, чтобы порисоваться». Достоевский дает ему фамилию — Тихомиров; эта фамилия тоже названа во время процесса, как одного из членов кружка в первой его стадии, в процессе нечаевцев. Второй — Ананий Васильев, действительно из крестьян: крестьянин Тверской губернии, работал в мастерской, которой заведывал Долгушин. Его русская поддевка и смазные сапоги все время упоминаются свидетелями, которым он раздавал прокламации.

Показательны и следующие детали: в романе жена Дергачева «оставила спор посредине и ушла кормить ребенка». Жена Долгушина, говоря о своем участии в спорах на теоретические темы, тоже утверждает, что она часто отлучалась кормить ребенка.

В протоколе от 16 сентября 1873 г., составленном судебными властями в пустоши Пекрушкине, даче Долгушина (долгушинцы по переезде в Москву купили ее на деньги Тихоцкого и там печатали прокламации), описана обстановка дома, в которой жили долгушинцы. Мебель только необходимая; в углу на полке деревянный неокрашенный крест, на котором сверху надпись: «Во имя Христа», а на перекладине креста: «Свобода, равенство и братство». Еще надписи на стенах на английском, французском, итальянском и латинском языках. *На английском:* «О бог, о душа, о слава свободы, и днем и ночью их молния и свет. Мы гребем, как рабы. Но если твой перст коснется нас, то они бегут. Какой человек остановит нас и какой бог поразит нас?» *По-итальянски:* «Иди твоим путем и пусть люди говорят, что хотят». *На французском:* «Служи только ему (очевидно, народу), ибо его дело есть дело священное. Он страдает, и всякий человек вблизи народа — ссть посланник бога». Достоевский берет только латинскую надпись, тоже имевшуюся в комнате на даче: «Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat, quae ferrum non sanat, ignis sanat» (Что не может быть излечено лекарствами, то излечивается железом, а чего не может излечить железо, излечивает огонь). В романе: «Только что вошел (Подросток и его приятель Зверев) в кршечную прихожую квартиры Дергачева, как послышались голоса... Кто-то кричал: quae medicamenta non sanant»⁶⁶ и т. д. А неокрашенный крест превращен в икону «в углу без ризы, но с горевшей лампадкой». Сюда, пожалуй, следует отнести и то, что фамилии в романе дергачевцев Васина и Крафта находят себе полное созвучие в фамилиях из судебного отчета: «Васнин» и «Крафт».

Но использование не ограничивается только аксессуарами, обстановкой, количеством действующих лиц и их, отчасти, портретами. В кружке Дергачева идет спор о России, о будущих ее судьбах и роли в истории человечества. Тихомиров (Папин), который, по судебному отчету, всё время рисуется, «сбивается на разные научные теории, делает ссылки на разных ученых, в том числе на Фридриха

Поля», говорит здесь долгушинцам (в романе дергачевцам): «Работайте для будущего, оставьте Россию... делайте для человечества и об остальных не заботьтесь...» В спор вмешивается жена Дергачева, — она «стояла за дверью, держа ребенка у груди и горячо прислушиваясь: «Надо жить по закону природы и правды»... Мы уже знаем, одна из трех прокламаций так и называется: «Как должно жить по закону природы и правды».

Но «закон природы и правды» предполагает уже решенным более общий вопрос: «о нормальном человеке». Из судебного процесса видно, что именно этот вопрос занимал долгушинцев прежде всего. С этого и началось. Жена Долгушина так рассказывает о начальном периоде существования кружка: «Иногда собирались все вместе по вечерам и занимались решением разных вопросов, из которых главнейший был вопрос о нормальном человеке. При этом разбирались потребности человека с его физической стороны, и мы пришли к тому убеждению, что бедность и невежество суть главнейшие причины, почему большинство не удовлетворяет своим физиологическим потребностям». Отыскание способов к удовлетворению физиологических потребностей так называемого «нормального человека» — такова, в передаче Долгушиной (что подтверждает также и Папин), исходная точка кружка, его, так сказать, философская основа. На этом защитник Папина и строит свою защитительную речь. Из этой основы он выводит, что долгушинцы — коммунисты. Они все, в том числе и Папин-Тихомиров, «отрицают собственность: их учение коммунистическое и в корне противоречит учению чистых политиков, взывающих к бунту против государя и государства». Система государственного строя долгушинцев, как коммунистов, в сущности мало интересует. С их точки зрения, осуществление уравнительного идеала возможно при любом строе. Другое дело чистые политики, которые «выше всего ставят личную свободу каждого члена государства».

Защитник знал, по всей вероятности, что долгушинцы вовсе не коммунисты и даже не социалисты, поскольку основным пунктом их программы было уравнительное землепользование крестьян: «разделение земли между всеми трудящимися». Но надо же как-нибудь защищать.

Замечательно, что когда Достоевский в «Сне смешного человека» говорит о будущем коммунистическом строе

«без богов и храмов», то он ясно предчувствует то, что для нас является аксиомой: коммунизм не только не предполагает подавления человеческой личности, а наоборот, приведет ее к расцвету, к полному раскрытию ее сил и способностей. Но он хочет следовать здесь именно судебному отчету: только эту идею о «нормальном человеке», который рассматривается только с «физической стороны», основная цель кружка — «отыскание способов к удовлетворению одних лишь физиологических потребностей», — только ее и берет он из всей системы воззрений долгушинцев, делает ее центральным пунктом спора с кружком Дергачева.

У Достоевского, конечно, свои цели: все те же нападки на революционные методы борьбы, и он намеренно искажает мысли своих противников. Сами прокламации их свидетельствуют о том, что они вовсе не снижали человека до одной физиологии: «жить должно человеку по закону правды», не только одной «природы», «правда» поставлена на первом месте. Так мы снова слышим здесь голос из мрачных «Записок из подполья», где Достоевский впервые так резко формулирует свою реакционную точку зрения в борьбе с социалистическими идеями революционного демократа Чернышевского в его замечательном романе «Что делать?» Эти слова «подпольного» героя повторяет Подросток, когда в споре с кружком Дергачева говорит: «У вас будет казарма, общие квартиры, атеизм и общие жены без детей — вот ваш финал. . . И за все это, за ту маленькую часть серединной выгоды, которую мне обеспечит ваша разумность, за кусок и тепло вы берете взамен всю мою личность».⁶⁷

Долгушинцы, как и вся революционная молодежь того времени, были противниками христианства; в этом смысле они атеисты. «Жить по закону природы и правды», «устроить рай на земле, но без бога», без церковного бога. Один из них, Плотников, прямо заявил на предварительном следствии, что он «человек без религии». Очень возможно, что для кружка в целом это все же не характерно. Но Достоевский и здесь идет по Отчету. В споре с долгушинцами Аркадий Долгорукий нападает и на этот пункт: «Ведь вы бога отрицаете, подвиг отрицаете, какая же косность, глухая, слепая, тупая может заставить меня действовать так, если мне выгоднее иначе. . . Что мне за дело в том, что будет через тысячу лет с вашим человечеством, если мне за это, по вашему кодексу, ни любви, ни будущей

жизни, ни признания за мною подвига...»⁶⁸ Воистину и здесь Достоевский показывает, как говорит Горький, «до какого визга может дойти индивидуалист из среды оторвавшихся от жизни молодых людей 19—20-го столетия», — от жизни, разумеется, народной, от жизни коллектива трудящихся.

В окончательном тексте эпизод с кружком Дергачева остался в стороне от больших сюжетных линий романа. Подросток вступил в него на одно лишь мгновение, пришел, как посторонний, поспорил, противопоставил свою точку зрения на свободу человеческой личности и ушел навсегда. Автор мотивирует эту встречу желанием Подростка увидеть Крафта и Васина, которые были в ту минуту на квартире у Дергачева. Мотивировка очень слабая, во всяком случае отнюдь не оправдывающая необходимость этого эпизода. После 3-й главы кружок выпадает из поля внимания в продолжение всего романа. Уже почти в конце узнаем, что он весь арестован по доносу, из ревности к Васину, полоумного князя Сокольского. Чем же это объяснить? В намерении ли художника было, чуть-чуть приоткрыв завесу над трагическим событием из жизни революционной молодежи, немедленно же ее опустить, эту завесу? Для хода романа эпизод совершенно не нужен, в смысле цельности концепции он вредит ей, расшатывает ее. Повторяем, судя по черновикам, роль долгушинцев должна была быть гораздо значительнее.

В январской книге «Отечественных записок» за 1875 г. была напечатана большая половина первой части «Подростка». В литературных кругах, отчасти и в критике, стали уже посмеиваться над странным сочетанием: Достоевский, вчера еще редактор «Гражданина», постоянный сотрудник «Русского вестника» и — «Отечественные записки»! Н. К. Михайловский так отвечал этим «хихикавшим»: «Достоевский один из самых талантливых наших писателей». Смысл ясен: он стоит того, чтобы за него бороться, предоставив ему возможность не быть столь связанным с «Русским вестником» Каткова. И тут, между прочим, о «страсти этого автора (т. е. Достоевского использовать в своих произведениях самые последние политические процессы): «Нам известно, что в романе это будет не больше, как эпизод» («Записки профана»). Откуда уже тогда, в самом начале, известно было Михайловскому, что только эпизод? В одном из писем к Анне Григорьевне за это

время Достоевский сообщает, что рассказывал Некрасову план следующих частей романа.⁶⁹ Напрашивается мысль: не виновата ли и редакция «Отечественных записок» в том, что процесс долгушинцев превратился в небольшой эпизод? Тема в самом деле щекотливая, как ее ни трактовать: сочувственно до конца — противоречит убеждениям автора; отрицательно в духе «Бесов», если б даже Достоевский и хотел, — тоже нельзя, поскольку это резко противоречило бы направлению журнала. Может быть, Некрасов и высказал Достоевскому свои соображения в этом именно направлении, и они показались достаточно вескими?

Но как мог Достоевский с самого начала взяться за такой в самом деле скользкий сюжет? Несколько лет назад печатался в «Вестнике Европы» (1872 г.) роман Пальма «Алексей Свободин» (о петрашевцах); действующие лица в нем, особенно Свободин (Достоевский) эмоционально окрашены в высшей степени сочувственно. Но это о делах давно минувших дней. Долгушинцы же — день *сегодняшний*. Ставаю последний вопрос исключительно с той целью, чтобы показать, как все здесь, в сущности, неясно, сложно и очень гадательно. Хронологически действие в романе происходит в середине 60-х годов: Достоевский точно указывает, что прошло всего двадцать лет после «Антоня Горемыки» Григоровича.⁷⁰ Может быть, это-то перемещение событий в прошлое, хоть и недалекое, и создало бы некую свободу действий для развертывания сюжета? Но это все, конечно, домыслы.

Остаемся при одном факте неопровержимом: в романе «Подросток», готовившемся для «Отечественных записок», для того журнала, который революционная молодежь считала своим, а Некрасова — выразителем и вдохновителем своей идеологии, — пусть в окончательном тексте лишь в малом эпизоде, в виде свернутом, — снова появляются революционеры, прикосновенные к делу Нечаева, и хоть борется с ними автор устами Подростка, эмоционально они освещены все же не так, как в «Бесах».

ХII

В ходе дальнейшей работы над сюжетом из всего кружка долгушинцев останется для более значительной роли один только Васин. Его, холодного и спокойного, «образец логики и ума», Достоевский сочтет нужным

использовать как контраст «живой жизни» главных действующих лиц, всегда беспокойных, в страстях своих падающих и поднимающихся, знающих радость и страдания больших идей и глубоких исканий.

А пока внимание опять сосредоточивается на обоих центральных героях: на будущем Версилове и Подростке. Беспокоит автора особенно один вопрос: как композиционно осуществить последнее решение, чтобы главным лицом был Подросток, а Он, будущий Версиллов — только «аксессуаром».

«Отцы и дети — дети и отцы». Подросток уже не брат, а сын. Мы уже знаем о нем, что, выписанный отцом в Петербург, он приезжает с «готовой уже идеей; стать Ротшильдом». Он ходит по менялам, по толкучим, приценивается, скупится. Связан с революционным кружком долгошинцев; шантажирует вместе с Ламбертом княгиню, будущую Ахмакову. Влюблен, может быть, в нее, может быть, в Лизу и соперничает с отцом. — И все же: ему ли, Подростку, быть главным лицом? Как до сих пор развивался замысел, главным героем все-таки остался отец, поскольку Он вырисовывается и идеологически и психологически неизмеримо сложнее и сильнее всех других действующих лиц, как единственный носитель какой-то великой мысли, в отличие от дурной ставрогинской уравновешенности и статичности, ярко и страстно проявляющий себя в каждой из своих «противоположных деятельностей». Подросток, при всей своей подвижности и раскинутости, как бы только врывается в Его жизнь, только осложняет Его сюжетную роль, но отнюдь себе не подчиняет.

Под 12 августа 1874 г. мы имеем такую запись:

«Важное решение задачи. Писать от себя. Начать словом Я. Исповедь великого грешника для себя». Это второй поворотный пункт огромного значения. Извне во внутрь. Отныне вот в чем должна будет сказываться роль Подростка как главного героя: он над всем и всеми, и над ролью отца господствует как автор. В центре его Я, его восприятие. Он может рассказывать в своей «Исповеди» о ком и о чем угодно, — важны чьи бы то ни были поступки не сами по себе, не столько само событие, сколько то, какое оно на него оказывало воздействие, как оно было воспринято им в его юношеском сердце. Вспоминаются Достоевскому пушкинские «Повести Белкина» в трактовке Аполлона Григорьева.⁷¹ Следует запись: «Как в повестях Белкина

важнее всего сам Белкин, так и тут прежде всего обрисовывается Подросток».

Уже в самой архитектонике «Исповеди», в самом ее стиле, юношески наивном, лирически взволнованном, должен обнаружиться образ Подростка: у него может быть «множество недосказанностей», может отсутствовать строгая последовательность в изложении событий. «Своя манера: например, едет к отцу и сведения об отце лишь тогда, когда он уже приехал, а биография отца и того позже». Ломается, одним словом, стройность и последовательность рассказа о чьей-бы то ни было жизни: она как бы разбивается на отдельные эпизоды, лишается своей самостоятельности. Ибо, утверждает еще раз автор, «это должно быть поэмой» о Подростке: «как он вступил в свет — это история его исканий, надежд, разочарований, горечи, возрождения, науки — история самого милого, самого симпатичного существа». Тем и должен кончиться роман-исповедь и «в этом его смысл, что он, Подросток, «всем виденным и пережитым поражен, раздавлен, собирается с духом и мыслями и готовится переменить на новую жизнь. Гимн всякой травке и солнцу (финальные строки)».

Так, — убеждает себя дальше Достоевский, — вырисовывается сам собою тип юноши; «и в неловкости рассказа, и в том «как жизнь хороша», и в необыкновенной серьезности характера». Твердо и окончательно: от Я, от Я, роман-исповедь «самого милого, симпатичного существа». Эта форма «от Я» тем более удобна, кажется автору, что она помогает обрисовке характера и второго центрального героя, хотя и становящегося теперь аксессуаром. Они будут взаимно друг друга освещать. Следует запись: «суеверно подчиненное отношение к нему Подростка» покажет «и Его в более фантастическом и так сказать бенгальском огне». А Он, т. е. отец «... — тоже начинает постепенно уважать Подростка, удивляется его сердцу, милой симпатии и глубине его идей при таком легком образовании... Он во весь роман ужасно следит за Подростком, что равно рисует и Его в чрезвычайно симпатическом виде и с глубиной души».

Эта форма «от Я» соблазнительна еще в одном отношении: она должна привести к большей сосредоточенности художественного воображения писателя, к некоему самоограничению. «Если от Я, — записывает дальше Достоевский, — то будет несомненно больше единства и менее

того, в чем упрекал меня Страхов, т. е. во множестве лиц и сюжетов». ⁷² «Сжатее, как можно сжатее!» — приказывает художник себе много раз. — Учиться у Пушкина. «Писать à l' Пушкин».

Итак, роман-исповедь, поэма о Подростке; все должно служить основной идее, которая найдет свое выражение в последних словах Подростка: «Теперь знаю, нашел чего искал, что добро и зло, не уклонюсь никогда». Отныне судьба романа и в смысле успеха будет зависеть исключительно от того, насколько окажется удачным образ Подростка. «Заставить читателя полюбить Подростка, — пишет Достоевский на полях, — полюбят и роман, и тогда прочтут. Не удастся Подросток как лицо, не удастся и роман».

Словом, не так, как в «Бесах», где форма «от Я» какая-то «пустая», где летописец не играет, в сущности, никакой роли, связывает события лишь от времени до времени и образ его остается неуловимым. Здесь, в этом новом романе, форма должна *полностью* соответствовать содержанию. Подросток пишет *от себя* потому, что он-то и есть *единственный* герой, в аспекте которого, в его понимании и освещении и воспринимаются все остальные действующие лица.

Достоевский говорит здесь так много об этой форме «от Я», так усиленно убеждает себя в ее возможности и выгодности, очевидно, потому, что ясно сознает те огромные трудности, которые с нею связаны. Ведь опыт с этой формой оказался неудачным не только в «Бесах», но и в «Преступлении и наказании». Во всяком случае, там он ее не одолел.

В «Преступлении и наказании» ⁷³ пришлось отказаться от первоначальной формы «исповеди интеллигентного преступника» и перейти к обычной форме повествования. В «Бесах» форма «от Я» осталась, но она-то и виновата в том, что «читатель, — как признается сам автор, — все время сбивается на проселок, теряет большую дорогу, путается вниманием»; рассказчик никого и ничего не объединяет.

Беспокоил же его особенно один вопрос: главным героем должен быть Подросток; Версиков — «только аксессуар». Но как же быть тогда с версиковскими идеями о судьбах мира и человечества, о борьбе между христианством и атеистическим коммунизмом, об одновременном

приятни и неприятни Парижской коммуны («Тюильри»), о смысле жизни, об основах нравственности? Может ли все это осмыслить 19-летний юноша? Если же, замечает дальше автор, решить вопрос так, что Подросток пишет свою исповедь «4 или 5 лет спустя после происшествия», то, во-первых, тон его рассказа потеряет тогда всю прелесть юношеской свежести и наивности. А во-вторых, будет ли это вообще естественно, когда он вдруг, по истечении такого длительного срока, сядет писать свои записки? «У читателя останется грубая, довольно комическая идея, что вот тот юный отрок уже вырос, пожалуй магистр, юрист, и с высоким снисхождением удостаивает описывать (чорт знает для чего) о том, как он был прежде глуп и проч.».

Сомнения порою настолько одолевают, что возникает мысль: не отказаться ли совсем от этой новой формы и писать по-старому: от автора. Тогда тон должен быть совершенно другой. «Если от автора,— читаем мы в одном месте,— то чертить свысока, как бы прикрывая симпатию, сдерживаясь и как можно оригинальнее в тоне и в расположении порядка описываемых сцен и предметов».

Но форма «от Я» все же гораздо соблазнительнее по полному соответствию своему с идеей романа, намечающейся уже теперь как основная: о милом и симпатичном юноше, который после долгих исканий и падений вступает наконец на правильный путь.

Эти колебания идут на многих и многих страницах, почти до самого последнего момента, когда уже нужно приступить к составлению связного текста. Но вот выход наконец найден. Форма исповеди остается, записки пишутся Подростком, но не в виде дневника, не во время происходящих событий, а спустя год. «То есть,— замечает автор,— он и теперь, и год спустя, в своем роде тоже подросток, но на того подростка, который год назад, смотрит свысока». А что касается сложности и высоты версильевских идей, насколько их может осмыслить юноша, хотя бы и 20-летний, то намечается вначале два возможных выхода: или Подросток излагает их по какой-то тетради, оставшейся после отца,— есть такой вариант финала, что Версильев не то кончает самоубийством, не то умирает в госпитале,— или будущий Версильев сам высказывает их в виде исповеди. Предпочтение, как мы знаем, отдано второму выходу.

Установлен тон и форма романа; наметились ясно характеры двух главных героев, как и тот идеологический смысл, который они должны выражать собою и своими действиями.

Линия Подростка ясна: он должен постичь наконец разницу между добром и злом, знать, как ему дальше жить. А Он, будущий Версилов, который «во весь роман ужасно следит за Подростком, удивляется его сердцу, милой симпатии и глубине его идей», что равно рисует его «в чрезвычайно симпатичном виде и с глубиною души», — Версилов все дальше и дальше отходит от своего литературного прототипа Ставрогина, от начальной своей роли «хищного типа», приближаясь все более и более к герою старого замысла «Атеизма». Глубина и высота его мысли неотразимы.

В черновых записях, частью приведенных, уже наметились те мысли Версилова, которые, — в окончательном тексте это особенно ясно, — сближаются с некоторыми идеями Герцена. Подчеркиваем: только с некоторыми. И, как это всегда бывает в тех случаях, когда идеи, чьи бы то ни было, искусственно отрываются от своего лона, извлекаемые из целостной концепции в виде лишь отдельных разрозненных элементов, прообраз получается сильно искаженным. Из всей многообразной деятельности Герцена, революционного демократа, проявлявшейся в огромных размерах, русских и западно-европейских, как и из всей системы его идей философских и социально-политических, претерпевшей очень сложную эволюцию, берется лишь один момент: конца 40-х гг. и начала 50-х гг., когда, после июньских расстрелов 1848 г., Герцен испытывает глубочайшее разочарование в европейской буржуазной демократии, впадает на время в пессимизм отчаяния, от которого, как он сам рассказывает об этом, его вскоре спасает вновь воскресшая в его душе вера в великое будущее русского народа. И этот момент, как это будет сейчас показано, освещается таким светом, что он должен быть противопоставлен всей остальной жизни Герцена и, в сущности, обесценивает ее, как полную заблуждений. Мы знаем его огромную роль в истории русской философии, как одного из величайших наших мыслителей, который, по слову В. И. Ленина, еще в сороковых годах «вплотную подошел к диалектическому материализму», и если он и

остановился перед историческим материализмом, то в этом виноваты условия жизни в экономически и политически отсталой России. Безмерно велика роль Герцена в борьбе с крепостническим строем и за свободное русское слово, которую он вел с таким талантом и с такой страстью в «Колоколе» и в «Полярной звезде». Все это не только выпадает из биографии Версилова, как не соответствующее облику «бездеятельного, развинченного, рефлектирующего, беспочвенного интеллигента», но, по мысли автора, должно восприниматься как «идея второстепенная» или ложная. Так пессимизм Герцена, его «глубокий скептицизм», который, по определению В. И. Ленина, был «формой перехода от иллюзии «надклассового» буржуазного демократизма к суровой, непреклонной, непобедимой классовой борьбе пролетариата», трактуется Достоевским в плане чисто психологическом, как основа его душевного строя, его мировосприятия; герценовский пессимизм используется здесь Достоевским, в сущности, с целью все той же борьбы с «идеями века сего», с революцией.

По лукавой книге умеренного консерватора Н. Стрехова «Борьба с Западом» интерпретируется весь Герцен.⁸⁴ Книга печаталась вначале отдельными главами в «Заре» за 1870 г., и тогда же они произвели на Достоевского особенно сильное впечатление. «С нетерпением жду продолжения Вашей статьи, — писал он Стрехову в письме от 24 марта 1870 г.⁸⁵ — Вы чрезвычайно удачно поставили главную точку Герцена, пессимизм. С страшным нетерпением жду продолжения статьи; тема слишком задирающая и современная». И в письме к нему же от 5 мая 1871 г. Достоевский снова возвращается к этой теме:⁸⁶ «Посмотрите опять на Герцена: сколько тоски и потребности поворотить на этот же путь», — разумеется, на путь противопоставления России Европе, признания за русским народом особого всемирно-исторического значения для будущих судеб человечества.

Что Достоевский в начале 60-х гг., еще до разрыва с передовыми идеями эпохи, воспринял целый ряд мыслей Герцена для решения именно этого вопроса о нашем исконном отношении к Западу, оставался им верен и потом, когда уже резко повернул вправо, приспособив их к совершенно другой системе идей, — было уже раз показано нами.⁸⁷ Если Версилов нередко высказывает здесь по этому же вопросу мысли самого автора, то совпадения с Герценом немн-

нуемы. Но есть в черновиках несколько и прямых указаний на эту связь между ними. «Он (Версиров) поминает Герцена, знал Белинского» — читаем мы в одном месте. В другом — правда, несколько иронически: «пьет шампанское à la Herzel». В третьем месте — фраза, которую можно понять только в связи с Герценом: «Я горжусь Прудоном». Прудона, как известно, Герцен считал самым свободным человеком в Европе и действительно гордился своей с ним дружбой.⁸⁸ В четвертый раз сказано прямо: «Я пойду к Герцену...» И то же в окончательном тексте, в «Исповеди», там, где раскрывается главная мысль Версирова, после Его слов: «Я уехал с тем, чтобы остаться в Европе и не возвращаться домой никогда. Я эмигрировал». — «К Герцену, — восклицает Подросток, — участвовать в заграничной пропаганде. Вы наверное всю жизнь участвовали в каком-нибудь заговоре».⁸⁹ В черновиках на эту тему есть такая фраза: «Всякий честный и мыслящий русский непременно участвует в каком-нибудь заговоре». Но в окончательном тексте Версиров иначе на это отвечает: «Нет, мой друг, я ни в каком заговоре не участвовал... Нет, я просто уехал тогда от тоски, от внезапной тоски». По Страхову, так именно должен был поступить и Герцен, «если б он хотел оставаться верным самому себе». Отчаявшись в Европе, потеряв прежнюю веру в европейские идеалы и в самую идею прогресса, он должен был бы навсегда оставаться в положении постороннего «зрителя», подобно «римским философам в первые века христианства», тоже «скорбно смотреть на разрушающийся мир», свободно мыслить, тосковать, мучиться в своем отчаянии, но «не действовать, не участвовать ни в каких революциях, ни в каких заговорах».⁹⁰ Герцен не послушался внутреннего голоса своего, и в этом, по Страхову, его величайшая ошибка, причина вечных сомнений, неполного возврата его на родину, его «нигилистического славянофильства». Версиров, тоже тоскующий, тоже разочарованный в европейских идеалах, уходит с «тонущего европейского корабля», как бы исправляет ошибку Герцена.

К Герцену Версиров не пошел, в заговорах, ни русских, ни европейских, не участвовал, но путь «внутренне» он проделал тот же: только там, на Западе, в величайшей тоске своей от того, что «лик мира сего проходит», понял он, что любит только ее, «маму», мать Подростка, крестьянку, символизирующую собою, как сказано в черновиках, «Рос-

сию, святую Русь». «Началось, — говорит он Подростку в исповеди своей, — с ее *впалых* щек, которых я иногда не мог припомнить, а иногда так даже и видеть без боли в сердце — буквально боли настоящей, физической». «Цивилизованный и отчаянный, бездеятельный и скептический, высшей интеллигенции», — так интерпретирует в одной из черновых записей сам автор идейный смысл образа Версилова, — увидел в этих «впалых щеках» матери отпечаток горя народного, и возникла в сердце не столько любовь, сколько великое сострадание. И дальше так представлены взаимоотношения между этой «*высшей интеллигенцией*» и народом. Она, мать, *Россия* «вечно считает себя безмерно ниже меня («цивилизованного») во всех отношениях». А между тем, «в жизни моей я не встречал с таким тонким и догадливым сердцем женщины... Клянусь, она более чем кто-либо способна понимать мои недостатки». Народ, мать, *Россия*, — только *простой народ* обладает истинным пониманием вещей, тонким и догадливым сердцем своим чувствует правду.

И вот как рассказывает этот «отчаянный, скептический» интеллигент о своей «страннической Одиссее», о своей «эмиграции», как она началась и чем она кончилась... Исповедь — грустная эпитафия всему прошлому, пережитому: «Мои странствия как раз кончились и как раз сегодня. Сегодня финал последнего акта, и занавес опускается. Этот последний акт долго длился». Он начался разрывом с *Россией*; «начался очень давно, когда я побежал в последний раз за границу. Я тогда бросил все, и знай, мой милый, что я тогда *разженился* с *твоей мамой* и ей сам заявил про это. Я объяснил ей тогда, что *уезжаю на век, что она меня никогда больше не увидит*». ⁹¹

Таково, по Достоевскому, и бегство Герцена в Европу: он тоже «бросил все», вскоре «*разженился*» с «*мамой*», с *Россией*, и тоже сам заявил ей про это, объяснил ей тогда в предисловии в книге «С того берега», что останется в Европе навсегда. ⁹²

«Было время, когда в ссылке, вблизи Уральского хребта, я облакал Европу фантастическими красками; я тогда верил в Европу и особенно во Францию. Я воспользовался первой минутой свободы, чтобы лететь в Париж». Здесь тон бодрый, тон радостной надежды. Герцен ставит рубеж: «это было еще до Февральской революции», и тогда «в Европу можно было еще верить». ⁹³ Но Достоевский и тут

следует Страхову, когда заставляет Версилова эмигрировать не потому, что верил в Европу, а «от тоски, от внезапной тоски». В толковании Страхова Герцен всегда был пессимистом, ставил неразрешимые вопросы и в ранних своих произведениях, до эмиграции. Оттого, утверждает Страхов, он так сразу, «еще до Февральской революции», стал замечать на лице европейского мира эту «матовую землистую „Facies Hippocratica“, по которой доктора узнают, что смерть уже занесла косу». ⁹⁴

Но особенно усилилась тоска Герцена после июньских расстрелов 48-го года. Рассеялись последние иллюзии, и он уже окончательно убедился, что старый мир, Европа безнадежно больна. Европа умирает. Уже видишь эти предсмертные конвульсии. «Вот она иногда бессильно усиливается еще раз схватить жизнь, еще раз овладеть ею, отделаться от болезни, насладиться, — не может, и впадает в тяжкий, горячечный полусон». Таков лейтмотив всех произведений Герцена конца 40-х и 50-х годов. Мотив этот уже слышится в последних его «Письмах из Франции и Италии», в «Концах и началах» и особенно явственно в книге «С того берега».

«Нам больно сознаться, что мы живем в мире, выжившем из ума, дряхлом, истощенном, у которого явным образом недостает силы и поведения, чтобы подняться на высоту собственной мысли». . . «Мир, в котором мы живем, умирает. Никакие лекарства не действуют более на обветшалое тело его». И отсюда тот «героический пессимизм», та великая тоска, которая охватила всех, кто обладал «искренностью и независимостью», отвагой бесстрашно смотреть истине в лицо, каким бы ни веяло от нее отчаянием. «Мы живем во время большой и трудной агонии». . . И «повседневная скорбь — самая резкая характеристика нашего времени. . .» ⁹⁵

Когда Версиров говорит Подростку, что он эмигрировал «от тоски, от внезапной тоски», а Подросток его спрашивает: «Что же, Европа воскресила ли вас тогда?», Версиров отвечает: «Воскресила ли меня Европа? Но я сам тогда ехал ее хоронить. . . Тогда особенно слышался над Европой как бы звон похоронного колокола». ⁹⁶ Это «тогда» определяется довольно точно: «Я не про войну лишь одну говорю и не про Тюильри: я и без того знал, что все пройдет, весь лик европейского старого мира — рано ли, поздно ли». Война — Франко-прусская, закончившаяся поражением

Франции, и «Тюильри» — Парижская коммуна. Эти европейские события последних лет восприняты Достоевским в такой же мере трагически, в какой восприняты были Герценом события 48-го года. Нарушая хронологические пределы романа, они вскрывают ту основу, на которой пессимизм Версилова поднимается до уровня герценовского отношения к Европе.

«О, не беспокойся, я знаю, что это было «логично» (сожжение Тюильри), я слишком понимаю неотразимость текущей идеи, но как носитель высшей русской культурной мысли я не мог допустить того, ибо *высшая русская мысль есть всепримирение идей*». В отличие от славянофилов, в черновиках несколько раз подчеркивается Версильевым, что этой «высшей своей мыслью», «всепримирением идей» русский народ обязан именно Петру I, и в этом его великое значение: «Петр Великий нас сделал гражданами Европы, и мы понесли общечеловеческое соединение идей. . . Горизонт отверзт перед нами Петром». «Всепримирение идей», или еще иначе: *синтез всех частных идей*, которые вырабатывает у себя каждая отдельная страна Европы, — вот что является уделом *истинного европейца*. Не противопоставление России Европе, а *вмещение* Россией в себя всей Европы, «всей ее культуры, накопленной всеми народами Запада». И Версильев говорит дальше: «Я скитался один. . .» Один из той тысячи, которая сумела выработать нигде еще не виданный высший культурный тип, «тип всемирного бolenия за всех». В Европе людей такого типа еще нет. «Европа сумела выработать тип француза, англичанина, немца, но еще ничего не знает о будущем своем человеке, о *действительном европейце*. . . Тогда во всей Европе не было ни одного *европейца*. . . я, как русский, был тогда единственным *европейцем*». ⁹⁷

И еще и еще раз утверждает Версильевым, что мы не отвергаем Европы, когда говорим о своем всемирно-историческом назначении.

Так утверждает и Герцен. Совершенно как у Версильева, противопоставляется Россия Европе на том основании, что там, на Западе, выработались законченные типы, там каждая страна, «чем ближе она к своему окончательному состоянию, тем больше она считает себя средоточием просвещения и всех совершенств, как Англия и Франция, не сомневающиеся, — в своем антагонизме, в своем соревновании, в своей взаимной ненависти, — что они передовые

страны мира». Мы же, в отличие от западных стран, свободны от этой узости. «Многосторонность наша — великое дело». Мы умеем «видеть дальше соседей, видеть мрачнее и смело высказывать свое мнение. Мыслящий русский — самый независимый человек в свете», самый свободный.

Герцен, этот «нигде еще не виданный высший культурный тип», который умеет видеть дальше соседей и мрачнее, тип «всемирного боления за всех», Герцен остался в Европе «страдать вдвойне, страдать от своего горя и от горя Европы, погибнуть, может быть, при разгроме и разрушении, к которому она несется на всех парах». И ему действительно грозила гибель — полного отчаяния, «разъедающего душу, парализующего всякую волю к действию». Спасла его вера в Россию, он «вдруг полюбил ее как никогда прежде». ⁹⁹ «В самый темный час холодной и неприветной ночи, стоя среди падшего и разваливающегося мира и вслушиваясь в ужасы, которые делались у нас, — внутренний голос говорил все громче и громче, что не все еще для нас погибло, и я снова повторял гетовский стих, который мы так часто повторяли юношами: Nein, es sind keine leere Träume. Вера в Россию спасла меня на краю нравственной гибели. За эту веру в нее, за это исцеление ею, благодарю я мою родину».

Так же кончаются и странствия Версилова: скитаясь по тому же падшему, разваливающемуся миру, в тоске и в отчаянии, он «вдруг полюбил маму, как никогда», с этой минуты началось его выздоровление.

Исповедь Версилова, в которой показана «высшая мысль общечеловеческого боления», должна быть поднята и на вершину нравственной высоты. Подросток говорит: «Клянись, что европейскую тоску его я ставлю вне сомнения и не только на ряду, но несравненно выше какой-нибудь современной практической деятельности. . . Любовь его к человечеству я признаю за самое искреннее и глубокое чувство, без всяких фокусов; а любовь его к маме за нечто совершенно неоспоримое, хотя, — прибавляется тут же, — может быть, немного и фантастическое». Так именно интерпретирует Страхов и деятельность Герцена. Герцен для него самый искренний писатель, всю жизнь одержимый европейской тоской, «болением за всех», за все человечество. Глубоко искренна была и любовь его к России, внутреннее возвращение его на родину: но видел он в ней — по словам Страхова — «поприще для осуществления своих завет-

нейших дум... идей совершенно ей чужих, совершенно посторонних. И тут он покидал ясную дорогу и вдавался в область... фантазии». ¹⁰⁰

В «Колоколе» от 15 января 1861 г. напечатан некролог Константина Аксакова, написанный Герценом. В нем так говорится о том главном, что соединяло и что разделяло родоначальников западничества и славянофильства: «У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство», которое они — славянофилы — «принимали за *воспоминание*, а мы за *пророчество*: чувство беспричинной, охватывающей все существование, любви к русскому народу, к русскому быту, к русскому складу ума... Они всю любовь, всю нежность перенесли на *угнетенную мать*. У нас, воспитанных вне дома, эта связь ослабла. Мы были на руках французской гувернантки, поздно узнали, что мать наша не она, а *загнанная крестьянка*. . . Мы сильно полюбили ее, но жизнь ее была слишком тесна. В ее комнате было нам душно: все *почерневшие лица из-за серебряных окладов*, все попы с причтом, пугавшие несчастную, забитую солдатами и псарями женщину, даже ее вечный плач об утраченном счастье раздирали наше сердце; мы знали, что у ней нет светлых воспоминаний; мы знали и другое — что ее счастье впереди, что под ее сердцем бьется зародыш, это — наш меньшой брат, которому мы без чечевицы уступим старшинство».

Достоевский мог прочитать эту цитату у Страхова, у него же найти и следующие слова Герцена: «И если они (славянофилы) не могли остановить фельдъегерской тройки, посланной Петром и в которой сидит Бирон и колотит ямщика, чтобы тот скакал по нивам и давил людей, то они остановили увлеченное общественное мнение и заставили призадуматься всех серьезных людей». Этот символ с фельдъегерской тройкой используется потом Достоевским почти дословно, ¹⁰¹ как используются здесь параллели: угнетенная мать, крестьянка, народ, Россия. Сильное безотчетное чувство любви к народу — у славянофилов оно воспоминание, тянет к прошлому, к этим попам с причтом и почерневшим лицам из-за серебряных окладов; у западников же, вернее у Герцена, оно пророчество: о том, что счастье этой загнанной, угнетенной матери впереди. Дальше будет видно, что у Достоевского это «чувство любви к народу» не разъединено: оно у него и «воспоминание» и «пророчество».

Герцен, как мы видели, оказался намеренно обедненным, бесконечно сниженным до уровня «бездеятельного», умного скитальца, в сущности представляющего собой лишь новую разновидность среди типов «лишних людей» из старой дворянской интеллигенции. Повторяем: все тот же тончайший способ борьбы с революцией, с тем Герценом, который нам особенно дорог как деятель, как демократ, как философ, вплотную подошедший к диалектическому материализму, ставивший своим девизом «философию переводить в действие», в жизни, в конкретной действительности проверять значение и ценность той или иной идеи. Получился, в сущности, не Герцен, а пародия на него, такого же приблизительно характера, как пародия на Грановского в «Бесах».

Но именно потому, что Герцен так снижен, и получилась возможность придать некоторые его черты Версиллову, — в том аспекте, в котором их видел Достоевский. И здесь особенно замечательно, что в художественном воображении писателя, когда создавался образ Версилова, возникал рядом с Герценом еще и тот, кто первый поставил у нас так остро, на широком философско-историческом основании, вопрос о России и Европе: П. Я. Чаадаев. Разумеется его первое «Философическое письмо», в котором Достоевский, — дальше будут приведены его слова, — видел «одно слепое негодование на наше родное, презрение ко всему русскому». Скажем уже сейчас: оценка этого письма у Достоевского абсолютно неверная. Прав, конечно, не он, а Герцен, когда говорит, что негодовал Чаадаев не на «наше родное», а на те условия, которые искажали это «родное», презирал не «все русское», а самодержавный политический режим и вместе с ним «сбитую с толку, запуганную» верхнюю часть общества, по выражению Герцена, этих «просвещенных рабов» из дворянской интеллигенции. Достоевский, — будет ниже показано, — поступит с Чаадаевым точно так же, как он поступил с Герценом: изымет его из исторической обстановки, использует его в своих целях; Чаадаев окажется таким же обедненным, таким же сниженным, как и Герцен. В словах Версилова, восходящих к чаадаевскому философическому письму, — особенно это слышится в черновых записях, — действительно будет звучать презрение ко всему русскому, в подтверждение все той же заветной идеи автора: «беспочвенному рефлектирующему

человеку высшей интеллигенции» приходится тратить очень большие усилия на преодоление своей гордыни, чтобы хоть голько приблизиться к «благообразию» странника из народа, Макара Долгорукого, проповедующего вместо путей революционной борьбы одно лишь самоусовершенствование.

Мы говорим обо всем этом тут же, чтобы с самого начала ясно было, каково наше отношение как к самому «Философическому письму», так и к той задаче, которую ставил перед собой Достоевский, когда он захотел передать Версилкову целый ряд мыслей Чаадаева, а также факты из его биографии.

Стоит теперь вопрос: что именно мог знать о нем Достоевский, кроме его «Философического письма»? Еще в 60-х годах печатались в «Русском вестнике» воспоминания о Чаадаеве Лонгинова.¹⁰² В 1871 г., в 7-й и 9-й книгах «Вестника Европы» была опубликована М. Жихаревым его биография и там же (в 1871 и 1872 гг.) несколько чаадаевских рукописей. В это же время уделяется большое внимание Чаадаеву и Пыпиным в его книге «Характеристика литературных мнений».¹⁰³

Появляется приблизительно за эти же годы много сведений о Чаадаеве и в «Русском архиве».¹⁰⁴ Читал ли все это Достоевский? Конечно, да: во всяком случае, то, что печаталось в «Вестнике Европы» в годы 70-е, ему безусловно было известно. Его всю жизнь интересовал Чаадаев как законченная личность, как тип, но прежде всего как мыслитель; ведь это та же сфера вопросов и идей, в которой пребывал и Герцен, и Белинский, и славянофилы, и он сам, Достоевский. Славянофилами взят у Чаадаева самый принцип философии истории: объяснять весь ход развития человечества с точки зрения воплощаемых в нем идей христианства. Можно спорить о качествах и преимуществах той или другой церкви — католической или православной; можно, как это делает Чаадаев в своем первом «Философическом письме»,¹⁰⁵ признать культуру западных народов благодетельной, потому что она одухотворялась деятельным католическим христианством, и отрицать какие бы то ни было культурные ценности за русским народом, поскольку его церковь, отвергая всякий компромисс с жизнью, оставалась все время в летаргии. Можно, наоборот, утверждать, с точки зрения славянофилов, что только православная церковь сохраняла в чистоте и неприкосновенности идею христианства и только русский народ осу-

ществляя в своей истории эту идею в прошлом и осуществит ее в будущем у нас в общечеловеческих размерах, — принцип религиозный остается все тот же.

Но к Чаадаеву более позднему, эпохи 40-х годов, восходит ведь и основа мировоззрения Герцена, эта главная мысль его, которую мы уже знаем, — о том, что у русского народа есть два великих преимущества перед западными: сознание своей свободы («русский человек — самый свободный человек в мире») и возможность использовать все культурное богатство, накопленное Западом. Чаадаев первый увидел в этом залог исключительного призвания русского народа, залог того, что народ этот служит хранителем особенного всемирноисторического начала. Герцен снял с этих мыслей их религиозный покров, перевел на язык социологии и психологии: чаадаевскую «чистоту христианской идеи (православие) заменил бессознательным социализмом (общинной) и широкостью размаха русской души. И Достоевский, конечно, знал об этой преемственности. Он был в Париже в 1862 г., когда вышло там собрание сочинений Чаадаева вместе с его «Апологией сумасшедшего», в которой эта историческая концепция о всемирном значении русского народа высказана вполне ясно.¹⁰⁶ И тогда же виделся с Герценом.¹⁰⁷ Был Достоевский за границей и в 1863 г.; а в годы 1867—1871, когда жил там безвыездно, то уж наверно читал «Былое и думы» и «Развитие революционных идей в России» Герцена, где дан такой прекрасный облик Чаадаева. Напомнил, наконец, Достоевскому об этой преемственности и Страхов в своей книге «Борьба с Западом», с мыслями которой — мы уже знаем это — Достоевский был совершенно согласен. Страхов правильно утверждает, что Герцен в статье «Еще из записок молодого человека» в лице Трензинского изобразил Чаадаева, «к которому автор относится с величайшим сочувствием», и что Чаадаев вообще «имел большое влияние на образ его мыслей», т. е. Герцена.¹⁰⁸

Герцен, Белинский, Грановский и рядом с ними почти всегда Чаадаев — так сочетаются они все вместе у Достоевского, как люди одной эпохи и, в основе, одних и тех же воззрений. О Чаадаеве сказано рядом с Белинским еще в 1862 г. в «Зимних заметках о летних впечатлениях»,¹⁰⁹ написанных, как мы знаем, под особенным влиянием Герцена:¹¹⁰ В том же сочетании упоминается Чаадаев и в «Весах»: «Имя его — Степана Трофимовича Верховен-

ского — многими тогдашними торопившимися людьми произносилось чуть не на ряду с именами Чаадаева, Белинского, Грановского и только что начинавшего тогда за границей Герцена». ¹¹¹

В 1870 г. образ Чаадаева замелькал перед Достоевским в художественном плане уже явно, как *личность*, как определенный тип, в связи с замыслом о «Житии великого грешника». Так, пишет он Майкову в письме от 25 марта: ¹¹² «13-летний мальчик, будущий герой всего романа, посажен в монастырь родителями для обучения. . . Тут же в монастыре посажу и Чаадаева (конечно, под другим именем). Почему Чаадаеву не просидеть года в монастыре? Предположите, что Чаадаев, после первой статьи, за которую его свидетельствовали доктора каждую неделю, не утерпел и напечатал, например, за границей, на французском языке, брошюру, — и очень могло бы быть, что за это его на год отправили бы посидеть в монастырь. К Чаадаеву могут приехать в гости и другие, Белинский, например, Грановский, Пушкин даже».

Подробность, что «Чаадаева свидетельствовали доктора каждую неделю», Достоевский мог, по всей вероятности, узнать еще в 40-х годах в кружке Белинского или у Герцена — из его «Развития революционных идей в России», из «Былого и дум». ¹¹³ Чаадаевская биография, написанная Жихаревым, была опубликована после — в 1872 г. Чаадаев, как прототип, намечен в «Житии великого грешника», «Житие» же генетически связано с замыслом романа об «Атеизме», идеи которого, мы уже это знаем, частью переданы Версилову. И к «Житию» же, к главному его герою, о чем было уже сказано здесь вначале, восходит и образ Подростка. Так тяготеют они все к какой-то общей сфере мыслей и чувств, составляют единую систему образов.

В письме к Майкову, где говорится о начальном замысле «Жития» в самом его зародыше, Чаадаев и «главный герой будущего романа», мальчик, который вскоре станет Подростком, соединены лишь во времени и пространстве. Однако роль, очевидно, предназначалась Чаадаеву с первого момента довольно сложная. . . Так, Белинский, Грановский и «Пушкин даже» могут встретиться с 13-летним мальчиком в монастыре лишь случайно, как гости Чаадаева; он же, Чаадаев, должен пребывать там долго, в течение целого года, и автор уже заранее предвидит, что в ходе романа придется резко его деформировать, отступить от

исторического его лица. «Ведь у меня же, — читаем мы тут же, в письме к Майкову, — не Чаадаев, я только в роман беру этот тип».

«Житие» осталось замыслом неосуществленным. В «Бесах» Чаадаев упомянут лишь мимоходом. Черты его, как нам кажется, оживают именно в «Подростке» после того, как Жихарев опубликовал его биографию, где Чаадаев впервые снят с того высокого пьедестала, на который Герцен везде его ставит. У Герцена Чаадаев-мыслитель почти всегда подавляет Чаадаева-человека. Если Герцен и говорит о некоторых личных чертах его характера, но совсем приятных, то они, черты эти, сейчас же прикрываются блеском его остроумия. Жихарев же как бы намеренно, точно в противовес Герцену, его снижает. Это тяжеловесный рассказ в старомодном стиле о человеке, с которым он встречается чуть ли не каждый день и мог наблюдать за ним во всех его проявлениях, замечать все его слабости. Жихарев — в своей бесталанности — очень искренен и правдив. Он благоговеет перед Чаадаевым, но не хочет его щадить, говорит о нем подчас вещи очень суровые. И образ создается самим читателем яркий и резкий, во всей его сложности и противоречивости.

И здесь очень характерны прежде всего те идеологические моменты, которые встречаются в более ранних черновых записях, касающихся Версилова, а потом, по мере приближения к его «Исповеди», постепенно исчезают. Крафт кончает самоубийством из-за того, что у него «такая Россия в голове»: «Он вывел, что русский народ есть народ второстепенный, которому предназначено послужить лишь материалом для более благородного племени, а не иметь своей самостоятельной роли в судьбах человечества». Достоевский видит в этом параллель с «Философским письмом»¹¹⁴ Чаадаева, воспринятым им тенденциозно и полемически. На самом же деле, как известно, Чаадаев говорит о России, а разумеет, конечно, как неоднократно указывал Герцен, не русский народ, а господствующий класс, разлагающееся дворянство: в гневных его словах негодующий протест против николаевского режима. Прикосновенный к движению декабристов, он к народу относился с неизменным чувством любви и верой в великие его силы и великое его значение.

Дальше черты личного характера. Про Версилова сказано в черновиках: *«Рядом с высочайшею и дьявольскою*

гордостью (нет мне судьи) есть и чрезвычайно суровые требования к самому себе, с тем только, что никому не дам отчету. *Наружная выработка весьма изящна: видимое простодушие, ласковость, видимая терпимость, отсутствие чисто личной амбиции.* А между тем все это из надменного взгляда на мир, из непостижимой вершины, на которую Он сам самовластно поставил себя над миром. Сущность, например, так: «меня не могут оскорбить, потому что они *мыши*. Я виноват и они это нашли, ну и пусть их, и дай бог им ума, хотя на время, потому что они так ничтожны, так ничтожны».

Это почти точно совпадает с портретом Чаадаева по Жихареву. Чаадаев на людях и с людьми, как и у себя в кабинете, горд, тонко умен и глубоко пронизателен. Презируя людей, он в то же время, если захочет, умеет быть ласковым; любовь и обожание он принимает как должное, особенно со стороны женщин, но взаимностью никому не отвечает. Он «*чудовищно эгоистичен*», иногда позволяет себе поступки, настолько сомнительные, что заставляет подозревать его даже в искренности проповедуемых им идей. И все же, несмотря на все эти недостатки, Чаадаев обаятелен; от него исходит какая-то покоряющая сила, как от носителя высокой мысли; его принимают таким, как он есть, ему ничего не ставится в укор.¹¹⁷

Про Версилова в одной из черновых записей сказано: «Подросток мучится от Его замкнутости, загадочности и бесчеловечности, нелюбности к людям. . . Эгоист и гордец, который никого не любит». С этой чертой крайнего эгоизма проходит Версиров по всему роману; так сказано о нем и в окончательном тексте: «Версиров ни к какому чувству, кроме безграничного самолюбия, и не может быть способен». Это отражается даже на его стиле. «Ужасно как вы любите отвлеченно говорить, Андрей Петрович, — замечает ему Подросток, — это эгоистическая черта: отвлеченно любят говорить одни эгоисты». А в обычной жизни, в быту, «живет лишь один Версиров, и все остальное кругом него и все с ним связанное прозябает под тем неизменным условием, чтобы иметь честь питать его своими силами, своими живыми соками».¹¹⁸

Подчеркивается в романе несколько раз, что Версиров прожил в свою жизнь три состояния, и весьма даже крупных, «всего тысяч на четыреста слишком и, пожалуй, более. Эти три состояния — три наследства прожил, и

теперь у него, разумеется, ни копейки». ¹¹⁸ Но он продолжает жить со множеством прежних довольно дорогих привычек; «брюзжит ужасно, и все приемы его совершенно деспотические». «Мать, сестра, тетка и все семейство Андроникова, состоявшее из бесчисленных женщин, благоговели перед ним, как перед фетишем». Тетка здесь особенно выделяется. О ней говорится, что она всегда откуда-то появлялась, когда ему только нужно было. Смотрела за его имением. Когда он, прожив три наследства, оказался без копейки, она потратила на него половину из последних своих пяти тысяч. Словом, «она служила ему, как раба, преклонялась перед ним, как перед папой». И дальше — его внешний портрет. Обаяние его вообще неотразимое. Он чрезвычайно красив; *Подросток особенно подчеркивает изящные его манеры, его исключительное умение одеваться.* Он — любимец общества. Его оригинальный пронизательный ум, хотя и едкий, делал его украшением известного круга московского высшего общества, в котором он с «влиятельными знатыми людьми особенно умел во всю жизнь поддерживать связи».

Все это почти детально совпадает с тем, что говорится о Чаадаеве в его биографии. Жихарев ¹¹⁹ с эгоизма и начинается: «Украшая собою известный круг знакомства, он в то же время делался в нем довольно тяжелым, давая волю своему эгоизму до нелепости». Через страницу: «Этот эгоизм... к концу его жизни получил беспощадный хищный характер, сделал все без исключения близкие, короткие с ним отношения тяжелыми до нестерпимости и был для него самого источником многих зол и тайных, но несказанных нравственных мучений». Биографу это «жестокое немилосердное себялюбие кажется врожденным», но оно «особенно тщательно было в нем возделано, взлелеяно и вскормлено сначала угодливым баловством тетки, а потом и баловством всеобщим». Дальше, в другом месте сказано, что особенно его баловали женщины, которые перед ним благоговели. «Тетка заботилась во всю жизнь о его благосостоянии, поддерживала его, когда он растрачивал свои три богатые наследства и впадал почти в нужду».

Чаадаев начал свою молодость как один «из наиболее светских, и может быть, и самых блистательных из молодых людей в Москве»; был очень красив, своенравен и горд. Когда он кончил университет и поступил в гвардейский полк (кстати, Версиров тоже по окончании универси-

тета поступил в этот же полк), сослуживцы по гвардейскому корпусу его прозвали «'s bel Tchad jci». Его охотно принимали в самом высшем свете, где он «пользовался глубоким и безусловным уважением, как человек замечательно образованный, чрезвычайно находчивый в разговоре и гениально-умный». ¹²⁰

Рассказывается у Жихарева довольно подробно и об его *крайне изящных манерах* и об его *одежде*. «Одевался он, можно положительно сказать, как никто. Нельзя сказать, чтобы одежда его была дорога... Очень много я видел людей, одетых несравненно богаче, но никогда, ни после, ни прежде, не видел никого, кто был бы одет прекраснее и кто умел бы столько достоинствами и грацией своей особы придавать значение своему платью». Впрочем, — следует примечание, — «разным портным, сапожникам, шляпных дел мастерам и тому подобным лицам он платил очень много и гораздо больше, нежели следовало, беспрестанно переменяя платье, а иногда просто по привычке без всякого толка тратить деньги». «Без всякого толка» он и потратил три наследства, из которых одно, оставшееся от родителей, стоило около полумиллиона ассигнациями, другое тоже «довольно ценное». ¹²¹

И еще несколько совпадений. Крафт рассказывает Подростку историю Версилова с Лидией Ахмаковой. ¹²² Это была «болезненная девушка лет семнадцати, страдавшая расстройством груди и, говорят, чрезвычайной красоты, а вместе с тем и фантастичности. В «Исповеди» Версилова дается ее портрет: «лицо худое и чахоточное и, при всем том, прекрасное, задумчивое и, в то же время, до странности лишенное мысли... Похоже было на то, что существом этим овладела какая-то неподвижная мысль, мучительная именно тем, что была ему не под силу»... «Девушка почему-то особенно привязалась к Версиллову. Он проповедывал тогда какую-то новую жизнь, был в религиозном настроении высшего смысла». Болезненная девушка «влюбилась в Версилова, или чем-то в нем поразились, или воспламенилась его речью». Версиллов говорит о ней, что «это была не женщина, с глубоким страданием и нежностью называет ее несчастной».

Этот эпизод с Лидией Ахмаковой, в романе совершенно лишний, находит себе полную аналогию в биографии Чаадаева же. Жихарев так об этом рассказывает: ¹²³ «Когда Чаадаев вернулся из-за границы, одержимый уже своей

религиозной идеей, в него влюбилась молодая девушка из одного соседнего семейства. Болезненная и слабая, она... нисколько не думала скрывать своего чувства, откровенно и безотчетно отдалась этому чувству вполне, и им была сведена в могилу... Не знаю, как он отвечал на эту привязанность... Но перед концом он вспомнил про нее, как про самое драгоценное свое состояние, и пожелал быть похороненным возле того несчастного существа, для которого был всем».

Жихарев говорит: «Об этом, как Чаадаев был избалован женщинами, можно было бы исписать несколько страниц». На женщин особенно действовала его речь, внешне холодная, за которой, по выражению Герцена, ощущалась «страсть под ледяной корой». И к ним он, очевидно, охотнее всего обращался. Из его писем, опубликованных в том же «Вестнике Европы», Достоевский мог узнать, что первое его «Философическое письмо» с проповедью его религиозных воззрений действительно было адресовано женщине, по фамилии Пановой, отношения к которой Чаадаева Лонгинов называет «близкой приятельней». «Они встретились нечаянно. Чаадаев увидел существо, томившееся пустотой окружающей среды, бессознательно понимавшее, что жизнь его чем-то извращена, инстинктивно искавшее выхода из заколдованного круга душившей его среды. Чаадаев не мог не принять участие в этой женщине; он был увлечен непреодолимым желанием подать ей руку помощи, объяснить ей, чего именно ей недоставало, к чему она стремилась невольно, не определяя себе точно цели». Дом этой женщины был почти единственным привлекавшим его местом, и «откровенные беседы с ней проливали в сердце Чаадаева ту отраду, которая неразлучна с обществом милой женщины, искренно предающейся чувству дружбы». Злые языки могли бы и Чаадаева назвать «бабьим пророком», как называют в «Подростке» Версилова.

В окончательном тексте Версилов, его роль проповедника рисуется намеренно пародийно в легкомысленных словах старого князя Сокольского: ¹²⁴ «Веришь ли, он тогда пристал ко всем нам, как лист: что, дескать, едим, об чем мыслим. Пугал и очищал: «если ты религиозен, то как же ты не идешь в монахи». Почти это и требовал... Это все после трех лет его за границей с ним произошло. И, признаюсь, меня очень потряс... и всех потрясал... Он там в католичество перешел... Он вериги носил...» В черно-

виках эта роль проповедника представлена в плане очень серьезном. Катерина Николасвна Ахмакова рисуется там вначале, как и Панова, тоже женщиной, «томившейся пустотой окружающей среды, бессознательно понимавшей, что жизнь ее извращена, инстинктивно искавшей выхода». И Версилов, только что обретший «новую истину» (перешел в католичество, стал носить вериги), тоже, как и Чаадаев, был увлечен «непреодолимым желанием подать ей руку помощи, объяснить ей, чего именно ей недоставало, к чему она стремилась неволью, не определяя себе точно цели». По одной черновой записи, проповедь его настолько на нее подействовала, что она решила уйти в монастырь.

К факту же из биографии Чаадаева восходит, быть может, отказ Версилова от дуэли с молодым Сокольским, как говорит Подросток, «по каким-то там своим убеждениям» — разумеется, конечно, по этим новым, религиозным, к которым он только что пришел за границей. Михарев рассказывает, как одно «довольно знатное лицо предложило Чаадаеву дуэль, и он отказался от нее... приводя причиной отказа *правила религии и человеколюбия* и простое нежелание».

Гордость, пренебрежение к людям; у них обоих (у Версилова и у Чаадаева) чудовищный эгоизм при огромном уме и замечательном остроумии; та же роль в обществе, те же манеры; обилие одинаковых фактов биографических и, главное, повторяем, та же основная идея, та же эволюция ее и те же доказательства этой идеи — при несомненном интересе автора к Чаадаеву, как к мыслителю, в продолжение всей жизни, а в плане художественном, как к типу, совсем недавно, в «Житии великого грешника», с которым, как мы видели, «Подросток» *связан органически*. Все это, вместе взятое, думается мне, является достаточно убедительным.

Разумеется, я отнюдь не утверждаю и здесь *прототипности*. Версилов, конечно, не списан ни с Чаадаева, ни с Герцена. Речь идет только о той высокой сфере мысли, при крайней психической сложности этих двух исторических лиц, о которой безусловно думал Достоевский и на которую ориентировался, когда перед ним стоял вопрос о реалистической основе образа Версилова, поскольку Версилов, как и они, также ставит и решает проблемы мировой истории и, как ему казалось, в их же направлении.

Герцен и Чаадаев — лишь как материал, в такой же мере художником деформированный, как и другие материалы, претворенные в этом центральном герое, носителе основной смысловой тяжести романа. В *иной* быт, в *иную* обстановку, в *иную* историческую эпоху и совершенно в другой системе мыслей перенесены эти черты и факты из жизни Чаадаева и Герцена, поэтому, конечно, и функции этих черт и фактов, как и эмоциональная окраска, совершенно другие.

XV

От Чаадаева к Герцену — так представляется нам эволюция, которую претерпевает образ Версилова в ходе работы над романом. Эволюция идет главным образом в плоскости идеологической, и идеология у Достоевского всегда влечет за собой психологию, в которую она должна воплотиться. Вначале Версилов наделен идеями Чаадаева и, соответственно, чертами его характера и фактами из его биографии. Черты в основном остаются, но, освещенные новым светом герценовских идей, особенно полно сказывающихся в «Исповеди», они теряют свою прежнюю жесткость. Образ Версилова, при всем «чудовищном эгоизме», становится обаятелен в своей крайней противоречивости, как носитель высокой мысли, русской национальной идеи, объединяющей в себе частные идеи западных народов. Он — носитель русской мысли. Хотя не в нем ее воплощение — он только носитель; воплощение, как будет вскоре показано, в человеке из народа; но мысль, национальная русская идея, в понимании Достоевского, так высока, так «светоносна», что достаточно одного лишь постижения ее, одного стремления проникнуться ею, чтобы герой был поднят на большую умственную и нравственную высоту.

Но этот «чудовищный эгоизм» Его как должен теперь проявляться в сюжете? До сих пор Он мог совершать преступления, невероятные по своей жестокости: насилует падчерицу Лизу; молодой князь предлагает Ему продать жену; вместе с Ламбертом Он шантажирует княгиню, жену старого князя; в семье, среди сводных детей, имеется маленький мальчик, которому Он раздирает рот за то, что тот не хочет Ему подчиняться; мальчик, как и Лиза, кончает самоубийством и т. п. Как же согласовать Его умственную высоту, Его высшую идею с такими чудовищными дей-

ствиями? Точно карточный домик рушится все это сюжетное построение.

Но художник упорствует. Начинается какое-то лихорадочное метание, какая-то дикая путаница: то «Он (Версильов) развратен», «имел Лизу фактически»; то «Лиза Ему не отдается», и Он «ходит как ужаленный»; жена сбежала к молодому князю и потом умерла; мальчик сбежал и утопился; Лиза «отдалась в бешенстве молодому князю», по этому случаю дуэль; по другой версии — отдалась Подростку; жена или дочь старого князя, будущая Ахмакова, не то была Его, Версильова, любовницей, не то прогнала Его после того, как Он назначил ей свидание в каком-то вертепе; Он мстит ей и опять в интриге против нее вместе с Ламбертом; в интриге участвует и Лиза, ревнуя Его к княгине; участвует зачем-то и Подросток; вся вторая половина августа и начало сентября ушли на это кружение в угаре каких-то чудовищных страстей.

8 сентября, среди записей, впервые появляется странник Макар Долгорукий, — фамилия его пока еще Макаров, — и все начинает меняться. Точно усмиряются больные страсти; герои и героини впервые размещаются твердо по своим социальным категориям и, соответственно, по тем основным идейным началам, которые они должны собою символизировать. Выпадает прежде всего самый главный узел преступлений в прежней сюжетной концепции: Лиза уже не падчерница, а родная дочь — от Макаровой, очевидно официальной жены странника, дворового крестьянина. Точно для того, чтобы оборвать все старые ассоциации, связанные с именем Лизы, она называется теперь Олей, и дается ей такая характеристика: «Оля — ангельский тип. Запуганная»; раньше о ней в черновиках часто говорилось, что она тоже, как и Он, «хищный тип». Про жену, уже не княгиню, убегающую к молодому князю, а крестьянку Макарову, сказано так: «Мать — русский тип (огромный характер) и забитые и покорные, и твердые, как святые». Это уже совершенно совпадает с образом ее в окончательном тексте.

Точно в гордом сознании найденного наконец верного пути, Достоевский так интерпретирует теперь содержание романа: «В романе все элементы: цивилизованный и отчаянный, бездеятельный и скептический, высшей интеллигенции — Он (Версильов). Древняя святая Русь — Макаровы. Святое хорошее в Новой Руси — тетка».

В окончательном тексте тетка, Татьяна Павловна, духом твердая, с чувством собственного достоинства, живущая трудами своих рук. «Захудалый род — молодой князь (скептик и проч.). Высшее общество — смешное и ничтожное. Молодое поколение, Подросток — лишь с инстинктом, ничего не знающий. Васин — безвыходно идеальный. Ламберт — мясо, материя, ужас».

Макар Долгорукий все осветил собою.

Но откуда взят, в его специфических чертах, этот образ, этот воплоитель народной правды, в трактовке, для Достоевского вовсе необычной? В «Бесах» он — «архиерей на спокойе», живет в стороне от монастыря, в скиту; в «Братьях Карамазовых» он — старец Зосима, иеромонах — тоже в скиту. Оба они лица духовные. Лишь здесь в «Подростке» он — странник, «бродяжка», из крестьян, «скитается вот уже тридцать лет».

Всего за несколько дней до первого упоминания о Макаре появился вторично в черновиках туманный облик однажды уже упомянутого швейцара или Швейцарова, того самого, который сжег жену на плите: «Идейный швейцар учит Подростка именно презрению богатства и большого ума и указывает счастье и свободу в обладании волею». Про него сказано тут же: «молитель (великий характер)». Это, конечно, отдаленный прототип Макара. Этому Швейцарову дается встреча с Васиным, одним из главных, как мы знаем, идеологов в кружке долгушинцев. «И что же, — читаем мы, — Швейцаров вполне подтверждает это учение, кроме того, чтобы все рассыпалось: оно само собою рассыплется». Васин заметил по этому поводу Подростку: «Или он ничего не понял или он понимает больше, чем я, во всяком случае у него есть какая-то идея. Эти люди самые опасные». Понятие идей социализма мы находим также и у Макара. Не подлежит сомнению, как уже было указано, что к этой же группе относится и явившийся в самом начале работы над планом идеальный учитель Федор Федорович, о котором было в свое время подчеркнуто, что «народ его принимает, как своего». Это все начальные наброски, еще не лица, а слабые чертежи.

Когда Версиров впервые говорит о Макаре, то Он рисует его так: «Этот Макар чрезвычайно осанист собой и, уверяю тебя, чрезвычайно красив. Правда, отар, но:

«Смуглолиц, высок и прям».

Эта строка из некрасовского стихотворения «Влас» взята в кавычках. Так указывает сам автор, к кому восходит его страшик. *Восходит*, но не сливается с ним, наоборот, в основном резко ему противопоставлен. Создается образ не по способу уподобления, а по способу *отталкивания*.

Влас для Достоевского в эти годы фигура колоссальная, неизменный символ встревоженной человеческой совести, ищущей правды. В таком именно смысле он интерпретирует его несколько раз в «Дневнике писателя» за 1876 и 1877 гг. Когда в «Анне Карениной» Левин говорит Стиве Облонскому: «Нет, если бы это было несправедливо, я не мог бы пользоваться этими благами, мне, главное, надо чувствовать, что я не виноват», — то Достоевский, приведя эти слова, добавляет: «И он в самом деле не успокоится, пока не разрешит: виноват он или не виноват. И знаете ли, до какой степени не успокоится? Он дойдет до последних столпов и, если надо, если только надо, если только он докажет себе, что это надо, то... обратится в «Власа», в «Власа» Некрасова, который роздал свое имение в припадке великого умиления и страха». . . ¹²⁵ И в этом смысле Левин для Достоевского — широчайший тип, самое великое обобщение наших дней: «В последние двадцать лет объявилось чрезвычайное множество этих людей, которым нужна правда и которые, чтобы достигнуть этой правды, отдадут все решительно». Вся современная самоотверженная молодежь «одержима этим непоколебимым и нерушимым стремлением к честности и правде, несмотря на весь непомерный разлад в убеждениях, все они готовы за слово «истины» обратиться в Власов».

И еще раз: «Некрасов создал своего *великого Власа*», великого именно тем, что все наши «искатели истины и правды, все эти новые люди наши в нем находят свое воплощение». Так Влас вырастает в символ правды уже всенародной, как и странничество его — в символ *распространенности* этой правды, ее «разлитости» по всей России: «от Каспия широкого до царственной Невы».

И снова об этом моменте перелома в отношении Достоевского к Некрасову в связи с «Подростком». Полтора года тому назад в «Гражданине», в период наибольшего расхождения с «идеями века сего», Достоевский заговорил о Влаसे впервые для того, чтобы показать, как Некрасов намеренно испортил эту «величавую фигуру», вырвавшую

восторг даже из его «высоколиберальной души», испортил, «страха ради либерального», как и подобает «общечеловеку», русскому *gentilhomme*'у, который «не может не крикаться, когда говорит о простом народе». ¹²⁶ Комментируется стихотворение в таком комическом стиле: «У этого Власа, как известно, прежде «бога не было». . . «Побоями в гроб жену свою вогнал, промышляющих разбоями, конокрадов укрывал», — даже конокрадов! — пугает нас поэт, впадая в тон набожной старушки, — ух, ведь, какие грехи! Ну и грянул же гром! Заболел Влас и видел видение, после которого поклялся пойти по миру и собирать на храм. Видел он ад-с, ни мало, ни меньше: «видел светопреставление, видел грешников в аду. . . Мучат бесы их проворные, жалит ведьма-егоза, эфиопы, видом черные, и как угля глаза». . . Одним словом, невообразимые ужасы, так даже, что страшно читать. . . «Но всего не описать». . . «Богомолки, бабы умные, могут лучше рассказать». «Богомолки, бабы умные» — это высшее оскорбление, что вот из-за таких то, в конце концов, бабьих пустяков «вырастают храмы божии по лицу земли родной». «О, поэт! — восклицает Достоевский, — к несчастью, истинный наш поэт, если бы вы не подходили к народу с вашими восторгами, с восторгами вашей высоколиберальной души. . .»

Так был использован «Влас» для уязвления Некрасова всего полтора года назад. А теперь, в период создания «Подростка» для «Отечественных записок», «Влас», оканчивается, совершенно и до конца приемлем, и не только вообще, как символ «искателя правды», но и в понимании именно Некрасова. Я разумею второй вариант этого образа в «Подростке»: во вставной новелле о купце Скотобойникове, которую рассказывает Макар Долгорукий.

Еще в «Гражданине», несмотря на основную цель свою на Власе сводить счеты с Некрасовым как с идейным врагом, Достоевский выделяет курсивом несколько стихотворных строк, особенно прекрасных: «Смуглолиц, высок и прям» (чудо, как хорошо!). И дальше: «Ходит он стопой неспешною. . . сам с собою говорит и железною веригою тихо на ходу звенит». Чудо, чудо как хорошо! Даже так хорошо, точно и не вы писали», — обращается Достоевский к Некрасову. В «Подростке» эти подчеркнутые места как раз и распределены по этим двум вариантам: «Смуглолиц, высок и прям» — отдано Макару Долгорукому; «сам с со-

бою говорит...» — угрюмость, отъединенность — купцу Скотобойникову.

Макару Долгорукому, непосредственно участвующему в развитии сюжета, нужно дать и внешний портрет. Скотобойников же отодвигается в даль легенды, о нем, предупреждает автор, «рассказывается его слогом», слогом Макара; «материальный» образ его поэтому может быть зыбким. Первый вариант внутренне, психологически резко контрастирует Власу, второй полностью с ним сливается, почти до тождества. Получается, точно Достоевский продолжает и здесь полемику с Некрасовым, но не потому, что образ Власа им испорчен «страха ради либерального». Poleмика переносится в иную плоскость: да, Влас прекрасен, «чудо как хорош» и до конца хорош (Скотобойников), только он не исчерпывает всего типа странников. Есть ему и во всем противоположные, которые не то что тревожно ищут правды, а как бы носят ее в себе, носят ее радостно, приемля весь мир, все окружающее (Долгорукий).

Влас — образ суровый, замкнутый, от мира отъединенный. Был он угрюм и жесток до своего перерождения: «нрава был крутого, строгого»; остался он таким и после: «весь в веригах... полон скорбью — неутешною... сам с собою говорит». — Жестокость превратилась в самоистязание, в аскетическое мучительство: не других уже, а самого себя, но все же мучает. В Макаре же Долгоруком прежде и больше всего поражает его улыбка, его тихий смех, «светлый, веселый след которого остается надолго в его лице и, главное, в глазах, очень глубоких, лучистых, больших... окруженных бесчисленными крошечными морщинками». «Я встретил в нем, — говорит Версиров, — чего никак не ожидал встретить: какое-то благодушие, ровность характера и, что всего удивительнее, чуть не *веселость*». ¹²⁷ Веселость — это основа мировосприятия Макара, как бы один из атрибутов его божества, понимаемого им как любовь, разлитая во всей окружающей жизни. Доктора в присутствии старика называют безбожником: «Ну уж, все вы, докторишки, безбожники!» «Макар Иванович, — вскричал доктор, — безбожник я или нет?» — «Ты-то безбожник? Нет, ты не безбожник, — степенно отвечает старик, пристально посмотрев на него. — Нет, слава богу, ты человек веселый». — «А кто весел, тот уж не безбожник?» — иронически заметил доктор. — «Это в своем роде — мысль», — заметил Версиров, но совсем не смеясь. — «Это сильная

мысль, — воскликнул я невольно, поразившись идеей», — рассказывает Подросток.¹²⁸

Веселость — радость от людей и всей окружающей жизни, именно полная противоположность аскетизму как идеалу, неотрывная связанность с реальной действительностью. Когда Подросток развивает перед странником картину полезной деятельности ученого, медика или вообще «друга человечества в мире», то приводит его в сущий восторг: «так, милый, так, благослови тебя бог, поистине мыслить!». И в еще больший восторг приходит странник от идей о будущем счастливом общественном строе. Излагает их ему «с величайшим жаром» тот же Подросток и после записывает: «До сих пор вспоминаю с удовлетворением о чрезвычайном впечатлении, которое я произвел на странника. Это было даже не впечатление, а почти *погрязение*. При сем он страшно интересовался историческими подробностями: «Где? Как? Кто устроил? Кто сказал?» — словом, не удовольствовался общей идеей, а требовал непременно самых твердых и точных подробностей».¹²⁹ Скажем, между прочим, что здесь характерен вопрос Макара: «Кто устроил?» Разумеется, конечно, Кабэ, один из властителей умов все тех же людей сороковых годов, социалистов-петрашевцев.

Нет надобности останавливаться здесь подробно на всем своеобразии концепции христианства у Достоевского, которую, как и концепцию Льва Толстого, Константин Леонтьев¹³⁰ назвал иронически «розовым христианством» — в противоположность аскетическому, именно жестокому, «пустынному», монашескому, византийскому христианству. Можно примирить противоположности. Смысл здесь ясен: народнические идеи «новых людей», стремящихся к общественной правде, вполне согласуются с идеалами в духе неохристианства утопических социалистов 40-х годов. И пусть будут принесены в жертву традиции, сложившиеся в течение всей истории христианской церкви, особенно восточной. По К. Леонтьеву, считавшему себя, как и Победоносцева, поборником истинного православия, это даже не христианство. Так и подчеркивает он, что «святые» в романах Достоевского никогда не молятся, не бывают ни на каких церковных службах. Именно: народный идеал, в страннике воплощенный, вовсе не вне жизни, забота и дума не только о себе, о своем спасении, а о спасении *всего мира, всего человечества, об его благоустройстве.*

В этом, самом идеальном, образе странника Макара из народа мы имеем как будто бы явное признание, принципиальное, действительной правды за тем лагерем, который до сих пор был до конца враждебен: правда за ним потому, что о том же мечтает и крестьянство, народ. Однако это только кажется так. Ибо суть вовсе не в том, что народ тоже ищет социальной справедливости, а в путях ее осуществления. «Да, — говорит Достоевский, — «Влас» Некрасова — великое создание»; странник Долгорукий — тот же Влас. Он психологически и идейно иначе осмыслен: из узкой и тесной сферы угрюмой сосредоточенности перенесен на широкий простор всепримятия и любви ко всему и всем, и именно потому, что в нем воплощен идеал исконной народной правды. Но вот не примет он «путей насилия и крови», путей революции. И это-то самое главное. Получается полемика в недрах самих «Отечественных записок». Мягкая по тону, она заключает в себе отрицание, в самой их основе, как теории, так и практики главных руководителей журнала.

Но странник Макар Иванович как символ — это верхушка, наиболее передовая часть крестьянства, наиболее культурная в исторически сложившихся условиях. Он «науку уважает очень, — говорит о нем Версилов, — и из всех наук любит больше астрономию». И еще: «При совершенном невежестве, он вдруг способен изумить неожиданным знакомством с иными понятиями, которых бы в нем и не предполагал».

В народной толще, еще не поднявшейся до того уровня, на котором должно произойти слияние интеллигенции с народом, высшей европейской мысли с народной правдой, по Достоевскому, как мы только что видели, с коммунизмом, но христианским, — там глубже всего стремление к личной святости, к покаянию, к искуплению своих грехов жертвой, мученичеством. В отличие от славянофилов, по Аполлону Григорьеву, купечество старое, не порвавшее еще с народным бытом, — тот же народ. В эту среду и переносится образ угрюмого Власа, раскрываясь в целой новелле о купце Скотобойникове. Кулак, мироед превращается в мелкого фабриканта, соответственно этому несколько меняются и грехи.

Влас «побоями в гроб жену свою загнал... у всего соседства бедного скупит хлеб, а в черный год не поверит гроша медного, вдвое с нищего сдерет». — «Ух, ведь, какие

грехи, пугает нас поэт, впадая в тон набожной старушки», — издевался тогда, в «Гражданине», Достоевский.

И вот грехи Скотобойникова: про супругу его «был слух, что усахарил он ее (как и Влас) еще на первом году». А народ рассчитывал так: «Возьмет счеты, наденет очки: «Тебе, Фома, сколько?» — «С Рождества не брал, Максим Иванович, тридцать девять рублев моих есть». — «Ух, сколько денег, ты и весь таких денег не стоишь... десять рублей с костей долой, а двадцать девять получиай...». И молчит человек; все молчат... И дальше: «И много он людей по миру пустил, растлил и погубил, производил мерзостей немало, и по городу, и по всей даже губернии, и даже всякую меру в сем случае потерял». И вот он, как и Влас, тоже в конце своих дней кается, раздает все свое имение и «подвизается в терпении, скорбях и странствиях».¹³¹

Превращение Власа было внезапное: заболел и видел видение. «Видел он ад-с, ни мало, ни меньше»: эфиопов, видом черных, ведьму-егозу... и тому подобные «бабьи пустяки». Только здесь отступил Достоевский от Некрасова, отказался от его «лубка». Но это его отступление уже не идеологическое, а художественное. Видение Скотобойникова гораздо тоньше и глубже: погибший из-за него отрок стал приходить к нему, являться во сне; тут-то он и начал «сам с собой все говорить» и решил наконец на власовский подвиг: на то же самонстяжание, на «странствия и скорби великие».

XVI

Началось с идеального учителя, Федора Федоровича, атеиста, мечтающего о разрушении современного буржуазного строя, закончилось образом странника из народа, Макара Долгорукого. В нем нашла свое завершение центральная тема романа о Востоке и Западе, о роли России в грядущих судьбах человечества. Так по-новому воплотился в художественном воображении писателя давнишний его лозунг с самого начала 60-х годов:¹³² будущее нашей страны в слиянии интеллигенции с народом. И никогда еще так не ощущалась необходимость этого слияния, как сейчас, когда явно обнаружился симптомы разложения всего современного общества.

Роман и должен быть весь проникнут этой современностью. Идеи, которые в нем раскрываются, должны освещать

щать факты из окружающей действительности. Хождение в народ революционно настроенной молодежи, процесс долгошинцев; Парижская коммуна, «сожжение Тюильри»; разговоры о разваливающейся государственной машине, о социализме и коммунизме — все это отражение того, что там, внизу, «хаос зашевелился». Все неудовлетворены жизнью, охвачены тревогой.

В первой половине 70-х годов вдруг заговорили в обществе и в печати о чрезвычайно резком увеличении числа самоубийств во всей России, в частности в Петербурге. Это было воспринято как один из самых грозных симптомов того, что после крестьянских реформ вместе со старым феодально-патриархальным строем рушатся и прежние нравственные устои; в смятении и в тревоге все классы общества: стреляются, топятся и вешаются не только интеллигенты из дворян, но и купцы, крестьяне и рабочие.

В № 13—14 «Гражданина» от 8 апреля 1874 г. сообщается о самоубийстве юноши, камер-пажа пажеского корпуса. Он вел буйный образ жизни, кутил, и его исключили из корпуса. Отец прислал ему из Москвы «сердитое письмо», после этого он застрелился. В № 23 того же журнала целый мартиролог: В Тифлисе покончила самоубийством дочь полковника, «богатая, образованная, любимица семьи». В Шавлях «умертвила себя» «любимая жена» заседателя Тельшевской полиции. Она вернулась из гостей, за что-то поссорилась с мужем, бросила в него стакан и окровавила его. Позвали к нему доктора, а она в это время у себя в комнате повесилась. В Ямполье дворянка Домбровская повесилась от безнадежной любви. В Петербурге одна девушка покончила самоубийством от безнадежной любви к человеку, с которым она не была даже знакома. Она знала о невозможности когда-либо сойтись с ним и «решилась покончить со своими страданиями и с жизнью».

«Гражданин» сообщает подобные сведения преимущественно о дворянах. «Русский мир» и либеральный «Голос» касаются и других сословий. В Тифлисе «лишил себя жизни» учитель математики Владиславлев. Он имел на своем попечении двух братьев и родителей и крайне нуждался.¹³³ Во Пскове повесился молодой человек 21 года. В его бумагах найдена такая записка: «Если справедливо, что ты меня так любишь, как говорил вчера вечером, то

докажешь это тогда, когда найдется в тебе решимости удавить себя». ¹³⁴ Он доказал свою любовь и повесился.

В «Голосе» эти случаи самоубийства регистрируются почти из номера в номер. Во Пскове, в гостинице «Париж», остановился молодой человек с девушкой. Через некоторое время она уехала и отвезла письма его к родителям, в которых он извещает их, что через два часа застрелится. ¹³⁵ Служанка генеральши Р-ской, Екатерина Сиверцева, 16 лет, вдруг, без всякой причины, отказалась от места и ушла. Это было 26 августа. 27-го сестра ее получила от нее письмо, в котором та просит ее притти к ней. Сестра отправляется на квартиру генеральши, и там ей передают оставленную для нее тетрадь, в которой Сиверцева пишет, что жизнь ей надоела и она решила покончить самоубийством. ¹³⁶

1 октября застрелился какой-то поручик по фамилии Моровой, 40 лет. Осталась записка: «Причина моей смерти — азартная игра». ¹³⁷

В «Голосе» № 282: «Вечером, 10 октября, был найден повесившимся в своей комнате сын тайного советника Сергей Фанстель 15 лет. Несколько дней назад он жаловался отцу, что ему очень трудно учиться, но тот не обратил внимания на эту жалобу. Возвратясь из пансиона в 4 часа, мальчик ушел в отдельную комнату, под предлогом приготовления урока, и не выходил оттуда. В 6 часов брат его вошел в комнату и увидел Сергея повесившимся на полотенце, привязанном к веревке, которая была прикреплена к крюку, вбитому в потолок. В кармане самоубийцы найдена записка, в которой он объясняет это самоубийство трудностью учиться». Там же, в № 297: Отставной унтер-офицер Васильев женился на вдове, у которой была дочь 16 лет. Он влюбился в падчерицу, но та не ответила ему взаимностью. В ночь на 11 октября Васильев выстрелил в нее из револьвера и сам застрелился.

В ночь на 6 ноября, в 11 часов, пришел в квартиру купца Ушина к его кухарке Адамовой бывший лакей, крестьянин Амосов, и стал стучаться в дверь. Адамова двери не открыла и позвала на помощь дворников. Когда дворники прибежали, они увидели Амосова в луже крови, с перерезанным горлом, а возле него окровавленный столовый нож. Самоубийство совершено из ревности. Амосов был в близких отношениях с Адамовой более 2½ лет. У нее от него был ребенок. В последнее время она к нему

охладела и перестала его принимать. Он несколько раз говорил ей, что, если она его бросит, он зарежется. 5 ноября он купил на Александровском рынке нож, написал на клочке бумаги стихи: «Сей локон дорог для меня, и с ним пойду в могилу я», завернул в эту бумажку локон ее волос и пришел к ней проститься. Но Адамова и на этот раз его не приняла. Услышав шаги дворников, Амосов поднялся выше на лестницу и перерезал себе горло.¹³⁸

В ночь на 22 ноября найден повесившимся 13-летний мальчик, сын отставного поручика. Он учился в гимназии, и последнее время очень грустил, что ему не удалось сдать экзамен для перевода в следующий класс.¹³⁹ Там же в «Голосе» перепечатано из «Рижского вестника» о том, что 21 ноября повесился мальчик 9½ лет, сын местного мещанина.

Ученик сапожного мастера был вынут из петли и отправлен в Петропавловскую больницу. Когда он поправился, решили препроводить его через полицию к хозяину. Но в участке мальчик снова пытался удавиться. Причина двойного самоубийства: он разбил ламповое стекло и боялся наказания. Крестьянская девочка 14 лет, в няньках, совершив какой-то проступок, из страха наказания бросилась в «люк ретирадного места».¹⁴⁰

Самоубийства превращаются уже в эпидемию. «Голос» начинает печатать помесячные сводки: в одном Петербурге лишают себя жизни каждый месяц от 15 до 20 человек. В «Русском календаре» на 1875 г. Суворина, на основании сведений, доставленных известным либеральным юристом и писателем А. Ф. Кони, помещена на эту тему большая статья, написанная в бесстрашном, научном тоне, и потому тем более жуткая. «Голос» использует эту статью в № 318. Автор начинает с описания разных петербургских увеселений, чтобы прогнвопоставить им эти пугающие факты, которые «происходят там, в глубине, под этим легким блестящим покровом». «Комедии, драмы, оперы, оперетки, балы и вечера... словом, все обстоит благополучно; «комедия» кипит, «событий» бездна! И вдруг, среди этого беззаботного веселья и разгула, словно погребальный, зловещий аккорд на последнем пире в «Лукреции», раздаются чуть не ежедневно печальные известия, что NN пустил себе пулю в лоб, NN утопился или зарезался, NNN приняла яду... Убивают себя из-за ничего, так себе, без всякой видимой причины: лишают себя жизни —

взрослые и юные, мужчины и женщины, люди, надломленные жизнью, усталые, и люди еще не начинавшие жить, юноши, почти дети. Особенно усилились самоубийства в Петербурге в последние годы. Петербург может занять в этом отношении одно из первых, если не первое место после Парижа. . .

И дальше, из «Календаря», приводятся такие данные: «Самоубийства в Петербурге стали видимо увеличиваться с 1864 г. До тех пор число их постоянно колебалось между 40 и 60 случаями в год. Так, в 1858 г. было 50 самоубийств и покушений на них; в 1859 г. — 58; в 1860 г. — 46; в 1861 г. — 43; в 1862 г. — 50; в 1863 г. — 41. Таким образом, в течение 6 лет самоубийства не только не увеличивались, но даже уменьшались, несмотря на значительный прирост населения в Петербурге и на огромное изменение экономических отношений в России, не могущее, конечно, не отразиться и на Петербурге. . . Но с 1864 г. рост самоубийств безостановочен: в 1864 г. — 57 случаев; в 1865 г. — 59; в 1866 г. — 61; в 1867 г. — 78; в 1868 г. — 89; в 1869 г. — 102; в 1870 г. — 125; в 1871 г. — 152; в 1872 г. — 167. Явление становится особенно грозным, если сравнить увеличение числа самоубийств за последние 5 лет с ростом населения и с увеличением цен на предметы первой необходимости. Население увеличилось всего на 15%, а самоубийства больше чем на 300%; цены на хлеб и муку увеличились на 18%; на сахар — 9%; на сапожный товар — на 20%; более резко увеличилась только плата за квартиру — на 35—40%. Но в это же время заработная плата тоже увеличилась более чем на 10%. Психическая неустойчивость — вот, очевидно, главная причина». Автор поэтому ставит в тесную связь самоубийства со случаями умопомешательства: в 1869 г. было освидетельствовано 329 умалишенных; в 1870 г. — 365; в 1871 г. — 414; в 1872 г. — 438.

«Календарь» Суворина распределяет самоубийц и по «словам»: в 1873 г. лишили себя жизни 17 мещан, трое купцов, 41 крестьянин и столько же дворян, хотя по отношению ко всему населению Петербурга дворяне составляют всего 14,2%. К этой «скорбной статистике» А. Ф. Кони газета «Голос» прибавляет еще сведения и за 1874 г.; они еще более ужасающие: до 1 октября было уже 127 самоубийств.¹⁴¹

Так отразилось в этой эпидемии самоубийств то, что в России все перевернулось: разложение, под натиском капитализма, крепостническо-дворянского строя.

В «Подростке», в окончательном тексте, четыре самоубийства: долгушинца Крафта, оттого что у него «такая Россия в голове», учительницы, напечатавшей в «Голосе» объявление, в котором сказалось все ее отчаяние: «дает уроки по всем предметам и по арифметике», маленького семилетнего мальчика и большого сильного Андреева, „le grand dadais», плачущего по ночам от угрызений совести: «он проел и пропил и мучился». В последней сцене романа Версиков пытается стрелять в Ахмакову: «Подросток изо всей силы схватил его за руку... но он успел вырвать свою руку и выстрелил в себя. Он хотел застрелить ее, а потом себя». В черновиках, по первому плану, должна была покончить с жизнью и Лиза, и маленький ее брат, которому Версиков «раздирает рот», и молодой князь Сокольский, а после обвинения в краже решил застрелиться и Подросток. В одном месте в черновиках имеется такая запись, точно вывод обобщающий: «Пьяные на улицах. Никто не хочет работать. Убил себя гимназист, что тяжело учиться. Дряблкое, подлое поколение. Никаких долгов и обязательств».

«Убил себя гимназист» — это уже прямо из газетной хроники. На факты из хроники ссылается автор и в следующей большой записи, в разговоре трех героев романа, Версикова, Васина и Подростка, на ту же тему о самоубийцах. Подросток задает вопрос: «Какие причины заставляют, перед последними мгновениями, чуть не всех (или очень многих) писать исповеди. Самолюбие, мелкое тщеславие (неверие)?» И в ответ он слышит: «Недостаток общей руководящей идеи, затронувший все образования и все развития, например, кухарка, повесившаяся из-за того, что потеряла барских 5 руб. И все это общая черта только нашего времени, ибо никак нельзя сказать, что самоубийства были в точно таком же числе и с таким характером и прежде, до гласности. Напротив. Именно теперь усилились, и именно эта черта только нашего времени. Потеряна эта связь, эта руководящая нить, это что-то, что всех удерживало... Истребляют себя от многочисленных причин, пишут исповеди тоже от многочисленных причин. Но можно отыскать и общие черты, точно в такую минуту у всех потребность писать. «Голос»: зарезавшийся ножом в трактире: «образ милой К. все передо мной». Уж тут-то кажется никакого тщеславия, да и наконец зарезаться ту-

пым ножом из одного самолюбия! Но вот что опять-таки общая черта: тут же, в этой же оставленной им записке (несмотря на милую К., которой образ, уж, конечно, не мог давать ему покоя, если из-за нее же зарезался) — тут же у него и примечание: «удивительно пусто в голове, думал, что в эту минуту будут особые мысли». Умно или глупо подобное замечание, — важно то, что все они чего-то ищут, о чем-то спрашивают, на что ответа не находят, чем-то интересуются совершенно вне личных интересов. О каком-то общем деле и вековечном, несмотря даже на образ милой К., который без сомнения мог бы прогнать всякую общую идею и потребность самоуглубления и обратить действие совершенно в личное».

Этих идейных, ищущих самоубийц, беспокоящихся «о каком-то общем деле и вековечном», Достоевский и обобщил, на фоне современных социальных вопросов, в образе Крафта. Крафт оставил после себя дневник, из которого видно, что он застрелился из револьвера уже в полные сумерки. Он затеял этот предсмертный дневник еще третьего дня и вписывал в него каждые четверть часа; самые же последние три-четыре заметки записывал каждые пять минут. Записи оказались «без всякой системы, о всем, что на ум взбредет. Примерно за час до выстрела о том, что его знобит, что он, чтобы согреться, думал было выпить рюмку, но мысль, что от этого, пожалуй, сильнее кровоизлияние, — остановила его». В последней отметке Крафт замечает, «что пишет почти в темноте, едва разбирая буквы; свечку же зажечь не хочет, боясь оставить после себя пожар. «А зажечь, чтоб пред выстрелом опять потушить, как и жизнь мою, не хочу», — странно прибавил он чуть не в последней строчке».¹⁴²

Из газеты взят материал и для этого предсмертного дневника Крафта. В № 46 «Гражданина» от 18 ноября 1874 г. было перепечатано сообщение из «Тифлисского вестника» о том, что в «Пятигорске какой-то А. П. найден мертвым в своей квартире, на постели, в полусидячем положении, в правой руке карандаш, в левой открытая книга, тут же часы и бумага, исписанная карандашом». На бумаге: «В половине 1-го принял яд. 55 минут первого. Начинаю чувствовать шум в ушах и головокружение. Час. В глазах темнеет; пишу с трудом; начинается нервная дрожь; хладнокровие не покидает меня; желания пить нет. 10 минут 2-го. Глаза смыкаются. Немного тошнит. 1 ч. 20 ми-

нут. Странное явление: начинает сильно чесаться нос. 1 ч. 30 минут. Теряю голос, вместо обыкновенных звуков с трудом вырываются звуки глухие и хриплые. Мысли путаются, закрываются глаза; начинаю бредить; в ушах звенит. 1 ч. 35 минут. Закурил папиросу; тошнота увеличивается. Не могу читать написанное, потому что пишу буквы как бы в тумане. 1 ч. 45 минут. Время тянется, как кажется мне, идет чрезвычайно медленно.

Пишу на память, и чтоб не онеметь и не забыть потушить свечу и тем не сделать пожара, тушу свечу. Предметы дwoятся, память, руки, глаза отказываются служить. 1 ч. 55 минут. Затем следуют еще две строки, которые совсем нельзя разобрать».

«Для чего ему понадобилось это наблюдение? — спрашивает редакция журнала. — Зачем этот человек, пожелавший умереть, пожелал вместе с тем проследить ощущения при приближении смерти?» Так, в сущности, относится к предсмертному дневнику Крафта и Васин. А Подросток, как и сам автор, возмущен такой «холодной логикой»: «И это вы называете пустяками? . . . Ведь последние мысли, последние мысли!»

Пятигорский самоубийца писал свои предсмертные заметки, уже обреченный; яд уже был принят, и смерть должна была наступить неминуемо. Мысль, овладевшая Крафтом, логический вывод, что «русская порода людей второстепенная, и, стало быть, в качестве русского совсем не стоит жить», ранила его на смерть, и он уже больше не властен над своей жизнью. Спускаясь по ступеням все ниже к той пропасти, которая должна поглотить их навсегда, они оба каждые 5—10 минут останавливаются на мгновение, чтобы записать свои последние мысли, столь «мелкие и пустые».

Замечательно, что к газетному же материалу восходит и последняя сцена романа: покушение Версилова на убийство Ахмаковой и на самоубийство. В начальных записях это должен был сделать Подросток, после того как «в несчастные дни кутежа» княгиня, в которую он страстно влюблен, оскорбляет его «ужасно, безмерно, придавленно». «. . .Револьвер в заговоре на месте отбирает у него Он», т. е. Версилов, «и все же стреляет». И следует за этим: «. . .О том, что застрелить женщину, если она не соглашется, фельетон Суворина ноябрь 3, № 303». Суворин («Незнакомец») написал в «Петербургских ведо-

мостях» свой фельетон, полный страстного гнева и возмущения, по поводу студента, который пытался застрелить девушку, сказавшую ему, что его не любит, потом сам застрелился:

«Я знаю четыре подобных случая, происшедшие в течение года, — пишет «Незнакомец», — в трех героями являлись молодые люди, окончившие курс в университете, и я смею сказать, что это дрянная молодежь, не возбуждающая к себе ни малейшей жалости; это эгоисты, ставящие свое я выше всего на свете, тогда как они на самом деле медного гроша не стоят. . .» Они поступают точно так же, как бывшие крепостники, которые «наказывали своих крепостных девок, если они отказывались удовлетворить любовь своих помещиков. И пусть не говорят, что это исключение. Нет, это зловещие симптомы страшной болезни, охватившей все молодое поколение. Мы о ней обыкновенно не думаем; мы вообще мало думаем; мы ищем легкости и шуток. . . бежим от трагедии в буффонады, хотя трагедия преследует нас по пятам, и чем больше мы бегаем от нее, тем настойчивее она гонится за нами. . .»

И дальше Суворин так характеризует это свое «дряблое поколение», у которого «никаких долгов и обязанностей»: «Мы начинаем терять всякую разборчивость; подняв голову кверху, мы идем, сами не знаем куда, не заботясь о том, давим ли мы кого или нет, и выбираем только торную дорогу. . . Собственная особа еще дорога нам, но посторонняя мы даже не просим, чтоб они посторонились. Живется — собираешь цветы и незаметно захлебываешься всеми подонками жизни; надоело жить — пулю в лоб; трусишь расстаться с своей грошевой жизнью — убьешь того, кто возле стоит, или того, кто, по вашему мнению, сделал бы эту жизнь более отрадною — и затем уже легче разделаться с своей жизнью».

Вот в каких страшных отклонениях от «нормального человека», переставших быть уже «исключениями», проявляется этот «недостаток общей руководящей идеи», которым ныне «затронуты все образования, все развития». «Моровая язва, вселившаяся в тела людей» (эпиграф в «Преступлении и наказании»), распад общества на отдельные атомы принял катастрофическую форму. Кто же и что же спасет от окончательной гибели, где же та идея, которая снова может стать «общей руководящей»? В печатной редакции Версилов, «цивилизованный, высшей интеллиген-

ции», носитель великой идеи о будущем русского народа, так и остается до конца «бездеятельным»; «холодный и спокойный» Васин, лучший из долгушинцев, «безвыходно идеален», т. е. безнадежно оторван от живой жизни. Только в страннике, Макаре Долгоруком, в его «благообразии» — единственный путь спасения. По этому пути и пойдет наконец «молодое поколение», Подросток, в поисках своего полного знания: что такое «добро и зло».

XVII

Использован в «Подростке» газетный материал и по другим побочным линиям романа. В феврале 1874 г. в Петербургском окружном суде слушался громкий процесс о подделке акций Тамбово-Козловской железной дороги.¹⁴³ Обвинителем был А. Ф. Кони. Обвинялись врач-акушер Колосов, его не то служащий, не то компаньон А. Ярошевич и библиотекарь Военно-медицинской академии, по происхождению дворянин старинного рода, Никитин. Отец Ярошевича, несколько лет тому назад осужденный по делу организованной шайки «письмоношцев», вынужденный бежать из почтовых пакетов, — бежал за границу и там, в Брюсселе, устроил на деньги Колосова типографию, в которой стал печатать поддельные акции Тамбово-Козловской железной дороги. В январе 1871 г. Колосов, молодой Ярошевич, его невеста Ольга Семеновна Иванова и жена библиотекаря Никитина ездили за границу, где пробыли около трех месяцев, и вернулись обратно, захватив с собою несколько сот фальшивых акций. В эти три месяца, отослав от себя Ярошевича, Колосов сошелся с его невестой, подчинив ее всецело своей воле. По его приказанию, она скрывала от жениха свою связь; уверяя Ярошевича в любви, она настраивала его против Колосова, рассказывая о своих обидах и оскорблениях, умоляла о защите и требовала мести. В результате компания вся пересорилась, и Ярошевич вместе с Никитиным решили убить Колосова. Они боялись, что он их предаст, несмотря на то, что его роль в подделке акций была самая главная. Колосов казался им всемогущим, он выдавал себя за важного агента III Отделения, которое поручило ему вступить за границей в сношения с Марксом, выведать у него тайны Интернационала, а также захватить там Нечаева и Серебрякова и привезти их в Россию. О том, что Колосов

имел сношения с III Отделением и ему действительно было что-то поручено, компания, очевидно, знала. За границей Колосов казался ей тем таинственнее, что он часто пропадал, куда-то уезжал, будто бы для свиданий с какими-то революционерами, а возвращаясь в Россию, вез с собою нелегальную литературу. Ярошевич рассказал о задуманном убийстве Ольге Ивановой, спрашивая ее совета; она дала свое согласие и сейчас же передала обо всем Колосову. Колосов начал судебное дело по обвинению своих компаньонов в покушении на его жизнь, а те уже раскрыли всю историю с фальшивыми акциями.

На предварительном следствии и на суде выяснились следующие любопытные факты из прошлого Колосова. В 1860 г. он подвергнулся уголовному преследованию за ложное обвинение валдайского городничего в подделке фальшивых кредитных билетов. Сам же составил ложное завещание помещицы Павловой, по которому имение ее перешло к нему. В 1866 г. он вместе с молодым Ярошевичем стал заниматься отдачей денег под заклад пенсионных книжек, а с 1869 г. открыл кассу ссуд с основным капиталом в 5000 руб. Кассу он назвал *Mont de piété* и утверждал, что устроил ее с целью «благодетельствовать бедному люду». Среди молодежи он играл обыкновенно «роль человека, угнетенного судьбою, несчастного страдальца, пострадавшего за правду». За границей выдавал себя за беглеца из Сибири, как он объяснял на суде, для того «чтобы приобрести доверие революционеров и получить от них бумаги».

В обвинительной речи А. Ф. Кони дал Колосову такую характеристику: «Может быть, он обладает большою опытностью и некоторым житейским тактом; в нем есть очевидная сметка и находчивость. Но ловкость и сметливость еще не делают человека умелым и умным; мелкая хитрость и обыденный опыт составляют, по словам поэта, ум глупца». «Ум глупца», сметку и находчивость Колосов проявил и на процессе. Упорно отрицая свое участие в подделке акций, он, при всем своем крайнем невежестве, ловко отвечал на вопросы обвинения, держа себя гордо и независимо, нахально разыгрывая роль «спасителя отечества». В судебном отчете приводятся следующие вопросы и ответы: *Вопрос.* «Зачем съездили в Лондон?» *Ответ.* «В Лондоне устраивался страшный заговор... Меня ждала честь, слава, если открою; разве этого мало? Это счастье». *На*

вопрос. Бывал ли он в Брюсселе у Ярошевича, Колосов ответил, что бывал и «видел у него многие личности, в числе которых были кинжалисты, вешатели». *Вопрос.* Была ли у него ссора с Ярошевичем? *Ответ.* Да, ссора произошла за то, что «Ярошевич написал Нечаеву, чтобы тот смотрел на меня как на подозрительного человека». Характерен особенно ответ на вопрос по поводу портфеля, в котором были перевезены в Россию фальшивые акции. Прокурор спрашивает, что в нем находилось, и Колосов, не моргнув глазом, отвечает: «В нем находилась коммуна хуже Парижской и план Нечаевского заговора». Никитин, меньше других причастный к делу (он только хранил акции у себя), предложил Колосову денег «за поправку репутации Ярошевича». Прокурор спрашивает Колосова: «Какая помощь требовалась от вас?», и он отвечает: «Они знали, что я очень хорошо поставлен в полиции. Мое слово много значит». И это была правда. Ему, очевидно, действительно верили в полиции и в III Отделении. На поручении «преследить эмиграцию» Колосов и строил все свои объяснения. Когда его спрашивали, сам ли он предложил свои услуги, или его просили, он в присутствии свидетеля, большого жандармского чина, ответил: «Я пришел, объявил, что еду за границу, мне поручили...»

На Достоевского этот судебный процесс произвел очень большое впечатление. В письме к В. П. Мецгерскому от 4 марта 1874 г. он пишет: «Ужась как хотел написать про Ольгу Ивановну из процесса о подделке тамбовских акций». ¹⁴⁴ Ольга Ивановна, дочь статского советника, его особенно поразила, «как знаменье времени», и рядом с ней Колосов, которого «правительство потянуло в суд и осудило в вышеупомянутом процессе». В черновых записях к «Подростку» Колосов несколько раз упоминается под своей фамилией в той же роли, в какой в окончательном тексте выведен Стебельков. На некоторых страницах фамилия колеблется: то Колосов, то Стебельков. *Колос* — *стебель*; вместо зерна — солома; фамилия снижается и фонетически и семантически.

В судебном отчете о Колосове сказано скупое: «Колосов высокого роста, брюнет с усами; лекарь-акушер». В романе его портрет детализирован и несколько изменен, внешние черты осложняются, отражая его душевные качества. Он появляется впервые в восьмой главе первой части, на квартире у Васина. ¹⁴⁵ «В коридоре, у самой двери

раздался громкий и развязный мужской голос. Кто-то схватил за ручку двери и приотворил ее настолько, что можно было разглядеть в коридоре какого-то *высокого ростом мужчину*. Мужчина нахально самоуверен. Черта эта сразу воспринимается в его движениях и голосе. «Держась за ручку двери, он чрез весь коридор продолжает разговаривать с хозяйкой, и уже по тоненькому и веселенькому голоску ее слышалось, что посетитель ей давно знаком, уважаем ею и ценим и как солидный гость, и как веселый господин. Веселый господин кричал и острил; наконец вошел, *размахнув дверь на весь отлет*».

И дальше такой портрет: «Волосы его, темнорусые с легкой проседью, черные брови», вместо усов (по судебному отчету) «большая борода»; «хорошо одет, очевидно, у лучшего портного, как говорится, по-барски»; «он не то что развязен, а как-то натурально нахален». Еще не успел этот человек сесть, как Подростку, находившемуся тогда в комнате Васина, вдруг померещилось, что «это должно быть некий г. Стебельков, о котором он уже что-то слышал, что-то нехорошее;» Подросток запомнил только, что «у этого Стебелькова был некоторый капитал и что он какой-то даже спекулянт и вертун». Стебельков заговаривает с Подростком, подмигивает ему, нарочно его сбивает какой-то косноязычной нелепой болтовней, и вдруг переходит на тему о *железнодорожных акциях*: «Брест-Граевские-то ведь не шлепнулись, а? *Ведь пошли, ведь идут?*» И тут же о Версилове, о грудном ребенке от m-lle Лидии Ахмаковой... «Прелестная дева ласкала меня...» «Фосфорные-то спички-а?» На восклицание Подростка: «Что за вздор, что за дичь! У него никогда не было ребенка от Ахмаковой!» — Стебельков отвечает: «Вона! Да я-то где был? *Я ведь и доктор, и акушер-с...* Правда, я и тогда уже не практиковал давно, но практический совет в практическом деле я мог подать».

Во второй главе второй части Стебельков снова появляется — в квартире молодого князя Сокольского. У князя важный гость, «с аксельбантами и лентой», один из представителей высшего петербургского света, Дарзан. На вопрос к нему другого гостя: «Вы, кажется, были в военном?» Дарзан отвечает: «Да, в военном, но благодаря... А, Стебельков, уж тут? Каким образом он здесь? Вот именно благодаря вот этим господинчикам я не в военном, — указал он прямо на Стебелькова и захохотал. Радостно за-

смеялся и Стебельков, вероятно, приняв за любезность». По уходе Дарзана, «чуть он вышел, Стебельков вскочил с места и стал среди комнаты, подняв палец кверху: «Этот барчонек следующую штуку на прошлой неделе отколол: дал вексель, а бланк подписал фальшивый. Векселечек-то в этом виде и существует, только это не принято! Уголовное. Во-семь тысяч».

Подросток «зверски взглянул на него: «И наверно этот вексель у вас?»

«У меня банк-с, — ответил Стебельков, — у меня «Mont de piété», а не вексель. Слыхали, что такое Mont de pié té в Париже? Хлеб и благодеяние бедным; у меня Mont de piété». О том, что у него Mont de piété, он говорит и в главе третьей, когда предлагает денег Подростку, чтобы он не препятствовал князю Сокольскому, от которого беременна сестра Лиза, жениться на сестре Анне Андреевне. Подросток еще не знает об истории Лизы с Сокольским и, думая, что Стебельков хочет дать ему взаймы, говорит: «Но вы, я слышал, дерете проценты невыносимые». — «У меня Mont de piété, а я не деру. Я для приятелей только держу, а другим не даю. Для других Mont de piété...» И автор дальше поясняет, что «этот Mont de piété был самая обыкновенная ссуда денег под залоги, на чье-то имя, в другой квартире, и процветавшее».¹⁴⁶ Касса ссуд Колосова была на имя Ярошевича и действительно процветала.

Из судебного отчета видно, что из всей компании по подделке тамбовских акций Никитин, «дворянин старинного рода», был менее других виновен. Такую же роль автор дает князю Сергею Сокольскому. В главе седьмой второй части Сергей Сокольский, исповедуясь перед Подростком, говорит: «А главное, кажется, теперь уже все кончено, и последний из князей Сокольских отправится на каторгу... Я — уголовный преступник и участвую в подделке фальшивых акций N-ской железной дороги». Участие его заключалось в том, что он за 3000 рублей дал Стебелькову рекомендательное письмо к одному русскому эмигранту, «не русского, впрочем, происхождения», который в России однажды уже был замешан в подделке бумаг. Стебелькову нужен был артист, *рисовальщик, гравер, литограф* и прочее, химик и техник — и с известными целями, и о целях он высказался с первого раза довольно пространно». Стебельков теперь пугает князя Сокольского.

Он, конечно, не донесет, чтобы себя не предать. Но акции, которые «давно в ходу и еще будут пущены в ход, кажется, где-то уж начали попадаться»... И в случае, если дело откроется, то... то они и его. Сокольского, втянут.¹⁴⁷

Этот русский эмигрант «не русского, впрочем, происхождения» — конечно, Ярошевич, по происхождению поляк. Из России он бежал, как мы знаем, после суда над ним по делу «письмоносцев». Он действительно был мастер на все руки: и гравёр, и литограф, и рисовальщик, и техник: тамбовские акции были подделаны очень неплохо.

Использована из судебного отчета и близость Колосова к III Отделению. Стебельков каждый раз пытается говорить с Подростком на темы революционные. Он знает про кружок Долгушина-Дергачева и хочет туда втереться. Подростку он однажды делает предложение «познакомить его с господином Дергачевым, так как вы там бываете».¹⁴⁸ На вопрос Подростка, для чего это ему нужно, Стебельков прямо отвечает, что «у Дергачева, по подозрениям его, наверно что-нибудь из запрещенного, из запрещенного строго, а потому, исследовав, я бы мог составить тем для себя некоторую выгоду».

Как уже было выше указано, наименее виновным из этой компании поддельвателей фальшивых акций был библиотекарь Военно-медицинской академии Никитин. В судебном отчете приведено следующее письмо его к жене:

«Я положительно никогда не сознаюсь, ни на следствии, ни на суде. На суд я не попаду, ибо до суда умру, но умру не ради общества, а ради самого себя, жены и родных. Да, я умру еще не осужденным. Я не могу, я не хочу, я не должен жить. Быть ссыльным или каторжником — это почти все равно... Дело ясное, думать и надеяться не на что, и чем скорее умереть, тем лучше. Я и оправдание-то не перенесу, если б оно и было возможно. Все равно мошеник на целый свет, помилованный присяжными. Меня могут спасти две вещи: 1) Если я буду иметь паспорт, уеду в Галицию, где русский язык, или пошляюсь по России в отдаленных местностях с каким-нибудь русским паспортом... Нет, лучше не слушаться, а прямо умереть, и умереть не осужденным, а только находящимся под стражею... Родные все оповорены и унижены мною на веки...»

Голова моя очень дурна. Я теряю силы, смысл и разум. Равнодушие, апатия, тоска, отчаяние и ужас ни на одну минуту не оставляют меня. . .».

В черновиках несколько раз говорится об «отдаленных местах России», о Ташкенте, куда можно спастись Сергею Сокольскому от преследований Стебелькова. Но мысль о самоубийстве не покидает его ни на минуту. Перед тем, как донести на себя, он, как и Никитин, тоже решает, что «лучше не слушаться, а прямо умереть, умереть не осужденным, чтобы не опозорить свой княжеский род». В письме к Подростку он так и пишет: «Я виновен перед отечеством и перед родом моим и за это сам, последний в роде, казню себя. . . Я нашел в себе, наконец, настолько твердости или, может быть, лишь отчаяния, чтобы поступить так, как поступаю теперь. . .»¹⁴⁹

XVIII

Самоубийства во всех слоях общества — как грозный симптом его разложения. Крафт лишает себя жизни по мотивам высоко идейным. Прежде был хотя какой-нибудь порядок, по выражению Глеба Успенского, «гармония, хоть и свинная». Теперь же устои все пошатнулись, люди бродят во тьме, без веры в будущее. Учительница, дающая уроки «по всем предметам и по арифметике», «покончила свой жизненный дебют» по причинам более простым: автор привел ее к могиле, как жертву крайней нужды и глубочайших оскорблений. В этих двух образах и обобщен преимущественно тот газетный материал, на фоне которого тем глубже должен быть воспринят основной смысл романа: блуждания Подростка в поисках «благообразия».

Но разложение охватило больше всего верхние слои общества. Смысл судебного процесса по поводу фальшивых акций Тамбовской железной дороги, использованного в романе для роли Стебелькова, чрезвычайно углублен тем, что показана та социальная среда, в которой Стебельковы неминуемы, как неминуемы черви возле гниющего трупа. Посетители князя Сергея Сокольского, «важный гость с аксельбантами и лентой», представитель высшего света Дарзан — подделыватель векселей; Нащокин, молодой человек из аристократической семьи, «в прошлом году еще служивший в одном из виднейших кавалерийских гвардейских полков», — мот и кутила, о котором «родные пу-

бликовали даже в газетах, что не отвечают за его долги». И сам князь Сокольский, принявший участие в подделке акций, потому что нуждался в деньгах и — «мне было весело в Париже, и я ни о чем не думал». О них-то обо всех Стебельков и говорит: «у меня *Mont de piété* для приятелей». Они достают деньги по десяти процентов в месяц, «страшно играют в игорных обществах», выигрывают иногда «в один вечер тысяч двенадцать, тысячи и проигрывают».

«Игорные общества», частные, на вид приличные дома, где собиралась «гремящая» молодежь из высшего света играть в банк и в рулетку, — это тоже было одной из злободневных тем тогдашней петербургской прессы. В «Гражданине» № 11 от 18 марта 1874 г., в отделе «Петербургское обозрение», так рассказывается об обыске у некоего отставного штаб-ротмистра Колемина, содержавшего заведение для запрещенной игры в рулетку: «Петербургская полиция занялась болезнью Петербурга, игрой в рулетку, и в лице товарища прокурора с жандармским офицером пожаловала неожиданным образом в квартиру офицера К., где застала рулетку и человек 15 игроков». . . Дом Колемина казался настолько «порядочным», а среди посетителей было столько высокопоставленных лиц, что «Гражданин» тут же сообщает о ропоте, который поднялся, очевидно, в высшем свете по поводу этого события. Событие это породило толки в городе: «Имела ли право полиция ворваться в частный дом?» «А домов таких, — добавляется дальше, — где играют в рулетку и проигрывают тысячи, в Петербурге очень много».

О том, что это «болезнь Петербурга», говорил и А. Ф. Кони в своей обвинительной речи по делу Колемина: «Мы знаем, что азартных игр в Петербурге развелось в последнее время очень много. . . В разных закоулках Петербурга существуют притоны, где играют в азартные игры». В судебном отчете¹⁵⁰ приведены следующие любопытные подробности из дела Колемина: во время обыска перед банкометом Колеминым, против которого сидел подполковник Бендерский, обнаружена сумма в 2896 руб. золотых и 11 050 руб. кредитными билетами. Игравшие были между собою мало или вовсе не знакомы. Хозяин не знал даже фамилии очень многих, а имени отчества почти никого. Из книг, взятых при обыске, оказалось, что заведение для игры открылось еще с ноября

1872 г.; вначале играли два раза в неделю, а с августа 1873 г. стали играть три: по понедельникам, четвергам и воскресеньям в одни и те же часы. Вход был свободен для всякого — по рекомендации кого-нибудь из игроков. На вопрос обвинителя, как велика была ставка, один из свидетелей, кандидат прав Петербургского университета Ломновский ответил, что самая большая была в 1000 руб., а самая меньшая — в 25 руб. Другой свидетель, который состоял при банкете Колемины счетчиком, показал, что «ставка на шанс» колебалась от 1 руб. до 500 руб. Кстати, фамилия этого свидетеля Тебеньков; созвучность ее с фамилией «Стебельков» наводит на мысль: не она ли послужила толчком к изменению фамилии Колосова в Стебелькова? Во время процесса выяснился точнее и социальный состав игроков. Один из свидетелей, Никитин, показал, что у Колемина бывали люди «самого высшего общества»: «Я видел там сенаторов, министра видел, посланника». Фигурировал на процессе, тоже в качестве игрока-свидетеля, штаб-ротмистр Дубельт.

Нравственное падение Подростка, обольщенного блеском этой «гремящей молодежи из высшего света», Достоевский и связывает теснее всего с игорными домами. Так Подросток и говорит о себе: «Я уже тогда развратился; мне уже трудно было отказаться от обеда в семь блюд в ресторане, от Матвея (собственного рысака), от английского магазина, от мнения моего парфюмера, ну и от всего этого».¹⁵¹ Судебный процесс Колемина используется в романе не как частный случай, а именно как факт, свидетельствующий о широко распространенной «болезни» аристократического Петербурга. В шестой главе второй части романа рассказ о рулетке Зерщикова начинается с того, что вначале молодой князь Сокольский «вводил» Подростка в такие дома, где «преимущественно шел банк и играли на очень значительные деньги». Там-то и собиралась публика из высшего света, и князь «хотя и входил иногда со мной (с Подростком) вместе рядом, но от меня как-то, в течение вечера, отделялся и ни с кем «из своих» меня не знакомил». Подросток вскоре бросил этот дом, где «хорошо при больших деньгах, и «пристрастился ездить в один клоак», где «все было ужасно нараспашку», «все происходило с грязнотцой». Но и тут он бросил «после одной омерзительной истории и стал ездить к Зерщикову». Зерщиков, как и Колемин, тоже отставной штаб-ротмистр.

Тон на его вечерах был «весьма сносный, военный, щекотно раздражительный к соблюдению форм чести»; Колемин держал себя и на суде очень прилично. Использован в романе и сидевший против Колемина подполковник Бендерский. «Напротив меня, через стол, — рассказывает Подросток, — сидел один пожилой офицер. — Решайтесь, полковник! — крикнул я, ставя новый куш. — Прошу оставить и меня в покое, без ваших советов, — резко отрезал он мне. — Вы очень здесь кричите. . .»

В восьмой главе той же второй части романа рассказывается, как пропали деньги в банке, под носом у Зерщикова, пачка в четыреста рублей. Подростка обвиняют в краже; лакеи хватают его за руки; он кричит, вырываясь: «Я не дам себя обыскивать, не позволю!», но его тащат в соседнюю комнату, там, среди толпы обыскивают всего две последней складки и выталкивают вон. Но он как-то успел стать в дверях и с бессмысленной яростью прокричал на всю залу: «Рулетка запрещена полицией. Сегодня же донесу на всех вас!» В судебном отчете по делу Колемина точно не указано, по чьему доносу нагрянула в его квартиру полиция вместе с товарищем прокурора. Воображение художника создало здесь вполне правдоподобную ситуацию.

И дальше так описывается душевное состояние Подростка после «катастрофы». Вытолкнутый на улицу, он бежит, страшно торопится, но — совсем не домой. «Зачем домой? Разве теперь может быть дом? В доме живут, я завтра проснусь, чтобы жить, — а разве это теперь возможно? Жизнь кончена, жить теперь уже совсем нельзя». И вот он бредет по улицам, «совсем не разбирая, куда идет, да и не знает, хотел ли куда добежать». . . «Теперь уже никакое действие, казалось мне в ту минуту, не может иметь никакой цели. . . Все отчуждилось, все стало вдруг не мое». И город, и прохожие, и тротуар, по которому он бежал, — все это было уже не его. «У меня мама, Лиза — ну, что ж, что мне теперь Лиза и мать? Все кончилось, все разом кончилось, кроме одного: того, что я — вор навечно». И всеми чувствами Подростка овладевает на мгновение мысль: «пойти на Николаевскую дорогу, положить голову на рельсы, там ее оттяпают». — Это все психологическая интерпретация тоже одного газетного сообщения из Казани: ¹⁵² капитан Ландсберг, играя в клубе, был заподозрен одним из партнеров, что он ведет нечестную игру.

Каштан пишет записку, что он не в силах выносить такое оскорбление и «пускает себе пулю в лоб».

Подросток остался жить; он «мигом и с болью прогнал эту мысль: положить голову на рельсы и умереть, а завтра скажут: это оттого он сделал, что украл, сделал от стыда, — нет, ни за что!»

У Подростка «румяные щеки», ему и «трех жизней мало». «Живучесть» спасла его от гибели, и он может дальше продолжать свой путь в поисках «благообразия». Умирает в романе молодой князь Сокольский, психически и нравственно разлагаясь. Участник в подделке фальшивых акций Тамбовской железной дороги, безвольный мот и кутила, доносчик на революционный кружок долгушинцев — он наиболее яркий символ того «хаоса и беспорядка», которые «охватили с неудержимой силой уже множество несомненно родовых семейств русских». С ним-то, как мы знаем уже, с князем Сокольским, и связаны сюжетно все эти нравственные уроды: и Колосов-Стебельков с его *Mont de piété*, и поддельватель векселей Дарзан, и молодой развратник Нащокин, недавно еще служивший в самом аристократическом конно-гвардейском полку, а по черибвикам — с ним же и мошенник Ламберт, о котором сказано: «материя, ужас!» Вся нравственная грязь тяготеет к этому высшему обществу, «уже потерявшему свои прежние «законченные формы чести и долга».

Характерно, что автор не пощадил даже лучшего из этого высшего общества, даже Версилова: он кончает свой путь тем «серьезным уже расстройством души, которое может привести к довольно худому концу». У Версилова старший сын, флигель-адъютант, тоже принадлежит к аристократическому кругу; идеальный воспитатель Николай Семенович, формулирующий в эпилоге нравственные идеи самого писателя, о нем «даже и говорить не хочет»: «да и не стоит он этой чести. Те, у кого есть глаза, знают заранее, до чего дойдут у нас подобные сорванцы, а к стати и других доведут».¹⁵³ Так же говорится и об Анне Андреевне, старшей дочери Версилова от первой жены, Фанариотовой, женщины «из высшего света»: «Лицо в размерах матушки игуменьи Митрофании», громкий процесс которой о подделке ею в пользу монастыря завещаний разных богачей только что разбирался (в октябре и ноябре 1874 г.).¹⁵⁴ Так еще и еще раз иллюстрируется основная мысль романа: только в страннике из дворовых, в Макаре

Долгоруком — источник «благообразия», которое ищет и находит Подросток. Сын Версилова и крестьянки, Подросток носит в себе, с одной стороны, порочность высшего света (отсюда его нравственные падения), а с другой — чистоту и святость простого народа, и в этом с самого начала был залог того, что он один уцелеет, выберется из этого хаоса и беспорядка.

«Мой метод реалистический» — так постоянно твердил о себе Достоевский. И к фактам из повседневной жизни, воспроизведенным в текущей прессе, обращался он за материалом, на котором строил свои сложнейшие идеологические концепции.

XIX

Говорилось до сих пор о том, как ставились и решались Достоевским в этом романе, в плане художественном и идеологическом, его исконные «мировые вопросы»: о Востоке и Западе, о роли русского народа в грядущих судьбах человечества, о «Золотом веке» на заре человеческой истории и в будущем, как о «самой высокой мечте, без которой человек и жить не захотел бы и не мог бы», и о возможных путях осуществления этой мечты — о социализме и коммунизме. Так вовлечены в роман темы: «сожжение Тюильри» и русская революционная молодежь, кружок Дергачева — долгушинцы во главе с Васиным как предвещание того, что «сроки приближаются»; победа «четвертого сословия» на Западе, у нас крестьянства как будто неминуема, потому что «накормить хлебом», хоть и «частная, временная задача, но великая». ¹⁵⁵

И все же задача эта частная. Под маской беспристрастия, как мы уже видели, все та же неутрачивающая борьба с «идеями века сего»: да, коммунизм, но не ваш, не атеистический, и пути к нему не революционные, а путь внутреннего перерождения, самоусовершенствования, стремление к «благообразию» странника из крестьян, патриархального крестьянства.

И вот нужно теперь, в связи со всеми проблемами и идеями, разрешить еще один вопрос, который жизнь «сегодня», после освобождения крестьян, выдвинула особенно остро: о роли и судьбах дворянского класса; не верхушки его, высшей аристократии, — нравственный распад ее уже совершился, — а класса в целом, класса, который

недавно еще так нераздельно господствовал, при всем своем эгоизме все же если не был, то во всяком случае казался главным участником в создании общенациональных культурных ценностей, нередко выделяя из себя лучших людей, умевших подниматься выше своих узкоклассовых интересов.

В «Анне Карениной» несколько раз ставится вопрос об идее «аристократизма», и Константин Левин высказывает свои «ретроградные мысли». ¹⁵⁶ Стива Облонский продает купцу Рябинину лес на сруб и легкомысленно дарит ему 30 000 руб. Левин возмущен, с мошенником Рябининым обращается очень грубо. И дальше такой разговор: Облонский спрашивает Левина, отчего он не подал руки купцу Рябинину, и получает в ответ: «Оттого, что я лакею не подам руки, а лакей во сто раз лучше его». — «Какой ты, однако, ретроград! А слияние сословий?» — спросил Облонский. — «Кому приятно сливаться — на здоровье, а мне противно». И дальше выясняется, что у Левина «зуб против этого Рябина». «Мне досадно и обидно видеть это, со всех сторон совершающееся, обеднение дворянства, к которому я принадлежу и, несмотря на слияние сословий, очень рад, что принадлежу». . . И обеднение не вследствие роскоши. — «Это бы ничего; прожить по-барски — это дворянское дело, это только дворяне умеют. Теперь мужики около нас скупают земли, — мне не обидно. Барин ничего не делает, мужик работает и вытесняет праздного человека. Так должно быть. И я очень рад мужику». Но «обеднение происходит по какой-то наивности: скупают землю и разоряют дворян купцы и кулаки, — вот это-то и обидно».

Барин, землевладелец, рад мужику, который работает и вытесняет праздного человека, однако он и с ним не сливается. Левин считает аристократами только себя и людей ему подобных, «которые в прошедшем могут указать на три-четыре честные поколения семей, находившихся на высшей степени образования». Мужику же образование вовсе не нужно, а с точки зрения барина — даже и вредно: «грамотный мужик, как работник, гораздо хуже. И дорог починить нельзя; а мосты, как поставят, так и украдут».¹⁵⁷

В «Подростке» вопрос о дворянстве и его роли ставится иначе; принадлежность к дворянству определяется не «прошедшим», не «*тремя-четырьмя поколениями*», в прошлом «находившимися на высшей степени образования»,

а делами и помыслами человека *в настоящем*, независимо от его происхождения. Причем Достоевский опять исходит из факта злободневного, который вызвал тогда в текущей прессе оживленную полемику. 25 декабря 1873 г. появился царский рескрипт, обращенный к дворянству с призывом «стать на страже народной школы». ¹⁵⁸ Наиболее реакционная часть помещичьего класса усмотрела в этом «новом призвании дворянства к заботам о просвещении сословную привилегию». Московским дворянством составлен был адрес, ¹⁵⁹ в котором было указано, что этим «призывом русского дворянства к участию в великом деле народного образования одновременно полагается и начало обновлению самого учреждения о дворянстве», иными словами, это только первый шаг к восстановлению прежних дворянских прав. Рескрипт прямо ставился в связь с грамотой Екатерины II о вольности дворян. «Московские ведомости», напечатав этот адрес, так именно и истолковывали смысл рескрипта. ¹⁶⁰ Либеральствующий «Голос» возражал трусливо и туманно, пока не появилась на помощь «Вестник Европы» со статьей в февральской книжке за 1874 г. ¹⁶¹

«Вестник Европы» резко выступает против адреса московского дворянства и против «Московских ведомостей» — с основным положением, что дело здесь не в сословной привилегии: рескрипт обращается к дворянству, лишь как к более культурной части общества. Доказывается это прежде всего тем, что самый-то класс дворянский у нас очень нестойк, поскольку уже издавна двери в него открыты для всех сословий. А с падением крепостного права уничтожен и последний политический оплот его. Кроме того, роль старых родов в землевладении все более и более слабеет, земля переходит в руки других сословий. В этом отношении, если и можно говорить о какой-то дворянской идее, то только как о силе *нравственной*, о силе *духовной*, но отнюдь не политической. Дворянские возжелания в связи с царским рескриптом, высказанные столь обнаженно в московском адресе и в «Московских ведомостях», показали настолько нетактичными, что даже такие консервативные органы печати, как «Русский мир» ¹⁶² и «Гражданин», ¹⁶³ склонялись скорее к точке зрения «Вестника Европы» — внешне, во всяком случае.

В наших черновиках разговор на эту тему ведется у Версилова с Крафтом, с явной ссылкой на газетную и журнальную полемику по поводу рескрипта. И слышится

при этом тот же голос возмущения, как и у Константина Левина по поводу продажи леса Рябинину. «Теперь, — говорит Крафт, — безлесят Россию, истощают в ней почву, обращают в степь и готовят ее для калмыков. Кто это делает? Купечество, скупающее землю, и старинное дворянство — помещики, прежние бойцы за землю, пока их не лишили крепостного права. Явись молодой хозяин с надеждами, посади дерево — и над ним расхохотутся: «разве дескать ты до него доживешь?» Идея о детях, идея об отечестве, идея о целом, о будущем идеале — все эти идеи не существуют, разбиты, подкопаны, осмеяны. . . Дворян уничтожили и требуют от них воскресения и обновления — в духовном попечительстве о России, в ношении высшей идеи, обращаются к нему с манифестом о поспитании. Но человек, истощающий почву с тем, чтоб «с меня только стало», потерял духовность и высшую идею свою».

В окончательном тексте эта же тема поставлена несколько абстрактно, факты злободневной действительности, очевидно, намеренно затушеваны. Вскрыть их не трудно. Беседа о роли дворянства происходит у Версилова с князем Сергеем Сокольским в присутствии Подростка. «Идея эта, — замечает Подросток, — очень волновала иногда князя»,¹⁶⁴ и он даже подозревает, что многое дурное в его жизни произошло и началось из этой идеи: «целя свое княжество и будучи нищим, он всю жизнь из ложной гордости сыпал деньгами и затянулся в долги». Версильов несколько раз намекал князю, что не в этом состоит княжество и хотел внушить ему «более высокую мысль». Подростку слова Версилова показались сначала «ретроградными, но потом он поправился». Версильов говорит, что «слово — честь значит *долг*», что «исповедание чести. . . всегда имеется у главенствующего сословия», и это «всегда почти служит связью и крепит землю». Но когда господствует одно сословие, то теряют все другие, не принадлежащие к этому сословию. «Чтоб не терпели — сравниваются в правах. Так у нас и сделано, и это прекрасно». Теперь дворянство наше, потеряв привилегии, могло бы оставаться высшим сословием в смысле только духовном, «в виде хранителя чести, света, науки и высшей идеи и, что главное, не замыкаясь уже в отдельную касту, что было бы смертью идеи. Напротив, ворота в сословие отворены у нас уже слишком издавна, теперь же пришло время их отворить

окончательно. Пусть всякий подвиг чести, науки и доблести даст у нас право всякому примкнуть к верхнему разряду людей; сословие, таким образом, само собою обращается лишь в собрание лучших людей, в смысле буквальном и истинном, а не в прежнем смысле привилегированной касты».

Князь в высшей степени недоволен этой идеей: ему она кажется чем-то в виде масонской ложи, полным отрицанием дворянства как класса. На что Версилов отвечает: «Ну, если уж очень того хотите, то дворянство у нас, может быть, *никогда и не существовало*», очевидно в том смысле, что никогда оно не было собранием действительно «лучших людей». Как видим, мысль «Вестника Европы» выражена здесь гораздо резче, радикальнее. Версиловское дворянство напоминает скорее власть интеллигенции в системе Сен-Симона. Никаких привилегий, никакого «обновления самого учреждения о дворянстве». Речь идет только о силе нравственной, о силе духовной, об аристократизме ума и высших душевных качеств. Это, конечно, утопия, «огненная точка», которая тут же гаснет, никому ничего не осветив «в глубокой тьме». От этой «идеи чести и просвещения» князь Сокольский и другие из высшего круга, действующие в романе, не только отрекаются, а просто ее не понимают.

Так утверждает еще раз мысль, что спасение только в страннике из народа, Макаре Долгоруком, единственном носителе истинного «благообразия». Будущее России — народ, точнее крестьянство, разумеется, конечно, патриархальное, и все те, которые к нему тяготеют, неся в себе хоть малую часть его сущности.

XX

В черновиках несколько раз появляется еще одна тема, которая тоже восходит к явлениям злободневным, нашедшим свое отражение в тогдашней периодической печати. Разумею стремление среди молодежи в Америку, в эту, по слову Герцена, «усовершенствованную форму того же европейского буржуазного строя». В предыдущем романе, в «Бесах»,¹⁶⁵ тема эта понадобилась как одна из причин разочарования Кириллова и Шатова в передовых идеях Запада. Была использована там книга Огородникова, под заглавием «От Нью-Йорка до Сан-Франциско и обратно в Россию», вначале печатавшаяся отдельными статьями

в №№ 4, 5, 6, 9, 11 и 12 «Зари» за 1870 г. Огородников рассказывает в одном месте о своей встрече со студентом Я. в гостинице Чикаго. Студент Я. попал в Америку по «идейным соображениям»: «воспользовавшись вакацией, он решился с самыми скудными средствами ехать в Америку, чтобы испытать жизнь американского рабочего и, таким образом, личным опытом проверить состояние человека в самом тяжелом его общественном положении». Шатов и Кириллов тоже ездили в Америку «на последние деньжонки», причем цель поездки точно передается словами студента Я. Достоевский берет их в кавычку как цитату: они поехали в Америку, «чтобы испробовать на себе жизнь американского рабочего и таким образом личным опытом проверить на себе состояние человека в самом тяжелом его общественном положении».

У Огородникова есть рассказ о том, как в вагоне один «сухой и молчаливый янки занял его место, подостлав под себя его же пальто и облокотившись на его же подушку». Этот же янки, «заметив его головную щетку, взял ее, снял свою шляпу и, небрежно причесав свои волосы, положил ее на подушку». Огородников говорит по этому поводу: «искренность этой американской бесцеремонности мне понравилась». Эту историю с головной щеткой Шатов так пародирует: «Раз мы едем, а человек полез в мой карман, вынул мою головную щетку и стал причесываться, мы только переглянулись с Кирилловым и решили, что это хорошо и что это нам очень нравится». Студент Я. описывает Огородникову те ужасные условия, в которых живут наши эмигранты в Америке: их там беспощадно эксплуатируют и обсчитывают; работу им дают не по силам; они бросают одну и хватаются за другую, но та еще тяжелее. Работа чаще всего сезонная, и по целым месяцам ютятся они в труппах в ожидании сезона. Шатов так конкретизирует это: «Ну и работали, мокли, мучились, уставали, наконец, я и Кириллов ушли, — заболели, не выдержали. Эксплуататор-хозяин нас при расчете обсчитал, вместо тридцати долларов по условию заплатил мне восемь, а ему пятнадцать; тоже и бивали нас там не раз. Ну тут-то без работы мы и пролежали с Кирилловым в городишке на полу четыре месяца рядом, он об одном думал, а я о другом».¹⁶⁶

В «Подростке» этих «идейных» соображений у молодежи, стремящейся в Америку, уже нет. Лишь в самом начале, в черновиках, появляется дважды идея об Америке:

Подросток приехал в «Петербург, отыскал Витю, тот свел его с гимназистом *бежать в Америку*». И вскоре еще раз, опять в связи с Витей: «На их «передовой молодежи» проекты (*Америка, подметные письма*) смотрит свысока». Но, в окончательном тексте, у Подростка мелькнула мысль об Америке только после того, как в игорном доме его обвинили в воровстве. Получается как будто, что в Америку отправляются теперь только люди, потерявшие честь.

Еще и еще раз утверждается все та же идеологическая концепция: есть только одна форма общечеловеческой культуры, русская, самая свободная, еще собирающаяся сказать свое слово, в котором должны объединиться синтетически все частные идеи западных народов. И если *Макар Долгорукий*, странник из народа, — символическая фигура для этого будущего «слова»: он-то и есть один из лучших, избранных людей, истинный «князь», в романе он гордится своей фамилией, в то время как неустановившийся еще Аркадий, вращающийся среди аристократов, «главенствующих» не по идее, а по «привилегии», ненавидит свою «княжескую» фамилию, — то к нему, к Макару, должны восходить и русские частные идеи, вместо идей долгушинцев. коммунизм в русском понимании. В «Бесах» основная группа революционеров, «коноводы», привезли свои идеи из Европы или из Америки, и все они за исключением неуловимого Петра Верховенского, гибнут. Здесь же гибнет только Крафт, не верующий в Россию.

«Факты! Как можно больше фактов!» «Проследите мной, даже вовсе и не такой яркий на первый взгляд факт действительной жизни, — и если только вы в силах и имеете глаз, то найдете в нем глубину, какой нет у Шекспира». ¹⁶⁷ Так утверждал постоянно Достоевский свой реализм, всюду ища этих фактов, чтобы на них строить свои здания. В № 211 «Голоса» от 1 августа 1874 г. он прочитал изумительное известие: «315 семей менонитов, числом до 1500 человек, уехали через Гамбург в Америку. Все эти переселенцы продали свои дома и хозяйства и отправились в другую часть света искать лучшей жизни». Это уже не беспочвенная интеллигенция, а самый коренной русский народ, крестьянство, такие же странники, как Макар Долгорукий. На этот раз художник не вдумался в глубину этого факта; помешала, должно быть, все та же идея борьбы с революцией, все та же проповедь смиренного «благообразия».

И в том же «Голосе», в № 253, от 13 сентября 1874 г., письмо русского священника из Нью-Йорка о русских переселенцах: «Не проходит почти одной недели без того, чтобы русские, которые проживают в здешней стране, не обращались ко мне с просьбами о помощи или о прискании для них какого-нибудь занятия, чтоб обеспечить их существование от голода и бесприютности; при этом они постоянно высказывают горькие жалобы на то, что обманулись в своих надеждах, и сердечное сожаление, что оставили свое отечество». И вывод такой: «Всякому вообще русскому я могу лишь только отсоветовать переселиться в Америку. Еще могут найти в Америке работу ремесленники, а учителя, писцы, счетчики и т. п. ничего не найдут». «Голос» печатает это письмо «с целью обратить внимание всех намеревающихся переселиться в Америку».

Достоевский использовал из этого письма только одну поразившую его деталь, казалось бы самую несущественную. Фамилия автора этого письма, «русского священника, — Биоринг. Фамилия-то его и поразила, она не только не священническая, но даже не русская. Достоевский передал ее «по принадлежности»: аккуратному, спесивому немцу из балтийских баронов, жениху Ахмаковой.

XXI

В нашем исследовании мы пытались осветить тот материал, литературный и общественно-политический, который непосредственно использовал Достоевский, когда строил свое идеологическое здание или, по крайней мере, упорно думал над этим материалом, прежде чем от него отказаться. Целого ряда фактов, в черновиках упоминаемых лишь вскользь, попавших в поле зрения писателя на данный короткий момент и сейчас же отброшенных, мы здесь не касаемся. Но есть среди этих «малых» записей такие пометки, которые, при всей своей отрывочности, заслуживают особого внимания, побуждая к пересмотру некоторых взглядов на творческий метод Достоевского, считавшихся до сих пор установленными.

Тургенев, Толстой, создавая своих героев, почти всегда исходили от конкретных лиц: знакомых, более или менее близких или родных, всегда имели перед собой некие живые прототипы. У Достоевского же, — сходились на этом почти все критики его, — герои — большей частью создание

художественного воображения, лишь в малой мере опиравшегося на людей из окружавшей его действительности. Они — носители определенных идей, характеры их идеями и формируются. В этом их сила — сила широкого обобщения; в этом и слабость их — в недостаточной конкретности.

Материалы к «Подростку», встречающиеся среди них беглые, коротенькие упоминания об именах и лицах, явно этому противоречат. Достоевский и портреты героев рисует на надежной реальной основе.

В черновиках рядом с именем Ахмаковой четыре раза стоит имя какой-то Е. П. или Ел. П-на: «У него (у младшего князя, Сергея Сокольского) с княгиней было вроде как у меня с Е. П. еще при жизни мужа». И в другом месте: «Обман в том, как Ел. П-на»; смысл тот: Ахмакова обманула молодого князя, как Е. П., очевидно, его, Достоевского. И в третий раз: «У него (у князя) с княгиней, как у меня с Е. П.». И, наконец, такая запись: «Подросток разъясняет Анне Андреевне историю Е. П-ны. Это была шалость. Я знаю из первых рук». Не подлежит сомнению, что речь идет здесь о Елене Павловне Ивановой (невестке сестры Федора Михайловича, Веры Михайловны). Об ее отношениях с Достоевским рассказывает, не совсем точно, Анна Григорьевна в своих «Воспоминаниях»: ¹⁶⁸ «Все Ивановы очень любили свою тетку по отцу, Елену Павловну, муж которой уже много лет был безнадежно болен. В семье решили, что по смерти его Елена Павловна выйдет замуж за Федора Михайловича, и он навсегда поселится в Москве».

Анна Григорьевна вообще стремилась создать легенду о том, что все увлечения Федора Михайловича до брака с нею не были глубокими. Так рассказывает она и об Анне Васильевне Корвин-Круковской, что не Круковская отказала Достоевскому, а «ей вернул данное слово он», так как они были «диаметрально противоположных убеждений, и уступить их она не могла, слишком уж она была прямолинейна». ¹⁶⁹ Под разницей в убеждениях нужно разуметь, конечно, то, что Круковская в 1871 г. принимавшая горячее участие в восстании парижского пролетариата, была революционно настроена и в 1864—1865 гг., в этот период наиболее близких отношений ее с Достоевским, Достоевский же резко повернул вправо уже в самом начале 1864 г., в «Записках из подполья» открыв свою борьбу с идеями Чернышевского. Но повести Круковской, печатавшиеся

в «Эпохе» у Достоевского в 1864 г. («Сон» и «Монах» в книжках 8 и 9), этому явно противоречат, как и противоречат всему характеру и тону рассказа Анны Григорьевны «воспоминания» сестры Круковской, Софьи Ковалевской: ¹⁷⁰ они кажутся несравненно более убедительными, поскольку образ Федора Михайловича обрисован в них гораздо правдивее; во всяком случае, без той несколько слащавой сентиментальности, которой Анна Григорьевна злоупотребляет, стремясь создать из истории своей жизни с Достоевским некую идиллию в духе английских семейных романов.

Вот что Достоевский писал Анне Григорьевне, еще до женитьбы, о своих прежних отношениях с Еленой Павловной: ¹⁷¹ «Я спросил ее (племянницу Сонечку): что Елена Павловна в мое отсутствие вспоминала обо мне? Она отвечала: О как же, непрерывно. Но не думаю, чтоб это могло назваться любовью. Вечером я узнал от сестры (Веры Михайловны) и от самой Елены Павловны, что она все время была несчастна. Ее муж ужасен; ему лучше. Он не отпускает ее ни на шаг от себя. Сердится и мучает ее день и ночь, ревнует. Из всех рассказов я вывел заключение, что ей некогда было думать о любви. (Это вполне верно.) Я ужасно рад, и это дело можно считать поконченным». В следующем письме, от 2 января 1866 г., Достоевский снова пишет Анне Григорьевне на эту тему: «Елена Павловна приняла все весьма сносно, и сказала мне только: «Я очень рада, что летом не поддалась и не сказала вам ничего решительно, иначе я бы погибла». ¹⁷²

Когда Ахмакова познакомилась с князем Сергеем Сокольским, муж ее, «еще не старый человек», тоже, как и муж Елены Павловны, «имел уже, от невоздержанной жизни, удар». В черновиках отношения Ахмаковой с князем Сокольским даны в двух вариантах: в одном — они страстно влюблены друг в друга; в другом — Ахмакова только «кокетничала» с ним, и обещание ее выйти за него замуж после смерти безнадежно больного мужа было лишь шуткой. В окончательном тексте, как известно, принят второй вариант. Подросток говорит, что «раз там, за границей, в одну шутистую минуту она действительно сказала князю: «может быть» в будущем, когда овдовеет, но что же это могло означать кроме лишь легкого слова?» ¹⁷³ Елена Павловна тоже, очевидно, сказала Достоевскому только: «может быть».

О характере Елены Павловны мы знаем очень мало. В опубликованных материалах о роде Достоевского¹⁷⁴ не приведена переписка с ней семьи Ивановых, с которой она всю жизнь поддерживала близкие отношения. Но не подлежит сомнению, образ ее мелькал перед Достоевским, когда он рисовал фигуру Ахмаковой. Судя по письмам Достоевского к Ивановым, в частности к племяннице Софье Александровне, Елена Павловна была добра, проста и естественна, относилась ко всем одинаково равно, с любовью, но без страсти. Человеку почти незнакомому, брату Анны Григорьевны, она дала 2000 рублей, когда просил об этом Достоевский.¹⁷⁵ Давала она денег и Паше, пасынку Достоевского, поддерживала всегда Ивановых. Когда Достоевский бывал в Москве, то обычно у нее и останавливался.

«Княгиня — довольно мрачный, сильно впечатлительный характер, хотя и с чрезвычайно светлыми проблемами. Светская заносчивость, нестерпимая гордость, английское упрямство и щепетильность (жена Байрона), мелкое самолюбие» — так сказано о будущей Ахмаковой в ранних записях о ней. Но тут пока еще у нее к молодому князю, будущему Сергею Сокольскому, действительно любовь, «какое-то материнское обожание, так что она прощает ему даже измены». *Лично-биографическое*, взаимоотношения с Еленой Павловной еще не всплыли на поверхность сознания. Но чем дальше, тем образ Ахмаковой все более и более смягчается. Сергей Сокольский — легкий эпизод, «как у меня с *Е. П.*», и Ахмакова мало-помалу приобретает ее черты.

«*Живая жизнь*» — сказано про нее, «простая русская красота», воплощение мягкости и доброты. В черновых набросках в сцене свидания с ней Подростка она говорит ему о своих «скверных пороках». — «Какие это?» — спрашивает он. — «Открытость желания тотчас победить, привлечь, осчастливить. Как можно? Так женщина не бывает откровенна, как я. Она не должна привлекать без любви. А я — я ведь никого не люблю. . . Я всех люблю. . . Я назначена всех любить, стало быть никого». В одном месте ей дается такая характеристика: «Катерина Николаевна есть редкий тип светской женщины — тип, которого в этом кругу, может быть, и не бывает. Это тип простой и прямодушной женщины в высшей степени».

Из области воспоминаний взял Достоевский некоторый материал и для образа отца Ахмаковой, старого князя Сокольского. В окончательном тексте его имя-отчество Николай Иванович; в черновиках же Николай Алексеевич. В одной ранней записи про жену Версилова сказано так: «Она чтит старого князя, как благодетеля их семьи (. . . Алексеевич)» — это, конечно, дядя Достоевских, Александр Алексеевич Куманин, о котором Андрей Михайлович Достоевский говорит: «Он сделал очень много доброго нашему семейству, а по смерти папеньки он приютил нас пятерых сирот и сделался истинным нашим благодетелем». ¹⁷⁶ Было у него без конца племянниц, и всем он «при замужестве давал большие приданые». Так, известно, каждая из сестер Федора Михайловича получила от А. А. Куманина по 25 000 руб. и столько же, наверно, получили и дочери его родных братьев.

Эту куманинскую заботу о племянницах и дальних родственниках Достоевский в «Подростке» несколько пародирует: «У него (у князя) была, сверх того, одна странность, не знаю только, смешная или нет: *выдавать замуж бедных девиц*. Он их выдавал уже лет двадцать пять сряду — или отдаленных родственниц, или падчериц каких-нибудь двоюродных братьев своей жены, или крестниц, даже выдал дочку своего швейцара. Он сначала брал их к себе в дом еще маленькими девочками, растил их с гувернантками и француженками, потом обучал в лучших учебных заведениях и под конец выдавал с приданным». ¹⁷⁷ Не знаем относительно других родственниц, — сестер Достоевского Александр Алексеевич действительно взял в дом еще маленькими девочками, растил их, воспитывал и обучал в лучших пансионах.

В 1856 г. Куманин был разбит параличом. В письме от 18 апреля того же года к брату Михаил Михайлович Достоевский писал: ¹⁷⁸ «На дядю плохая надежда. Он безвыходно живет в креслах и стал как ребенок, а братья его и племянницы овладели тетушкой. Просто взяли целый дом в опеку. Каждую неделю тетушка отдает им отчет в каждой истраченной копейке».

Со стариком Сокольским случился не удар, а только припадок; соответственно этому смягчены и последствия: он не стал «совсем как ребенок», а сделался только уже чересчур легкомысленным. «И с тех пор старика сторожили со всех сторон». Его дом тоже взяли как бы в опеку: вся

эта «бездна разных отдаленных родственников, преимущественно по покойной его жене, которые все были чуть не нищие», питомцев и питомиц, «которые все ожидали частички в его завещании, а потому все и помогали в надзоре над стариком». ¹⁷⁹ В словах «родственников, преимущественно по покойной его жене» слышится, быть может, тон личного раздражения против всех Достоевских, московских и петербургских (они-то и есть родственники Куманина по жене), которые в 60-х годах, когда Достоевский находился за границей, очень опекали богатую тетушку, впавшую в сумасшествие; она только и говорила: «ключики, ключики, ключики. . .»

XXII

Из глубины далекого прошлого извлекается на мгновение еще один образ из тех, которые запомнились Достоевскому на всю жизнь: казах Валиханов Чеккан Чингисович (Достоевский называет его «Чеккан Чолканович»), известный этнограф, в 1858 г. совершивший смелое путешествие в Кашгар, которое чуть не стоило ему жизни. Достоевский познакомился с ним, по всей вероятности, еще в Омске, где Валиханов по окончании в 1853 г. Омского кадетского корпуса поступил младшим офицером в Сибирское линейное казачье войско. В 1856 г. Валиханов был в Семипалатинске, и там они подружились. Человека с крайне сложной, изломанной психикой потянуло к простоте и ясности здоровой и цельной природы, сохранившей нетронутым свой душевный строй при «вполне европейском образовании». Валиханову был тогда всего 21 год. Талантливый, остроумный, с пылкой фантазией, он пленял всех своим обаятельным простодушием, необычайной мягкостью сердца при крайне смелом и решительном характере. «Я никогда и ни к кому, не исключая родного брата, не чувствовал такого влечения как к вам», — пишет ему Достоевский в письме от 14 декабря 1856 г. ¹⁸⁰ Он называет его «дорогим, милым другом», «судьба сделала вас превосходнейшим человеком, дав вам душу и сердце». И в таком же тоне о нем, через три года, в письме к Врангелю от 31 октября 1859 г., ¹⁸¹ когда Валиханов, по возвращении (в 1859 г.) из кашгарского путешествия, очутился в Петербурге с целью поступить в Университет: «Валиханов премилый и презамечательный человек. . . Я его

очень люблю и очень им интересуюсь». В 1860 г. они опять стали лично встречаться: литературный кружок Достоевских, образовавшийся вокруг журнала «Время», принял Валиханова очень радушно.

В Валиханове произошла за эти пять лет, что они не видались, большая перемена. Вот как об этом рассказывает один из первых его биографов, Н. М. Ядринцев:¹⁸² «Валиханов много обещал сделать по истории своего народа, им было собрано большое количество материалов по киргизской мифологии и устной поэзии, а также исторических преданий о прошедших временах киргизского ханства, о борьбе партий в киргизском народе перед потерей независимости»; его «остроумные комбинации фактов и планы будущих сочинений заставляли только желать, чтобы он скорее издал свои труды». Но все это оказалось тщетным, «ожиданий, какие возлагали на него люди, коротко его знавшие», он не оправдал. Его погубила та военная среда в Омске и в Петербурге, в которой он вращался. Н. М. Ядринцев говорит здесь о скверном влиянии на Валиханова некоторых членов из кружка Достоевского, в частности Всеволода Крестовского, которому Валиханов «во время гусарских разговоров давал шутя темы для его испанских стихотворений, а сей поэт, питаясь крохами его остроумия, немедленно строчил свои романы. Quasi-образованные писатели, подобные Вс. Крестовскому, потакали страстям молодого инородца; он сходил с ними, ища в них цивилизованных людей, а находил людей, проводивших в поэтической форме разврат». Не подлежит сомнению, у Ядринцева краски крайне сгущены. Заслуги Валиханова как просветителя казахского народа и как ученого географа весьма значительны. Какова бы ни была перемена, произошедшая в нем в последние годы его жизни, характер его оставался до конца обаятельным. Об этом свидетельствует переписка его с Ап. Майковым как раз в этот период. Нас интересует именно связь с кружком Достоевского.

«Гусарские разговоры», «темные страсти», «разврат в поэтической форме» — это те же «физические излишества и отступления от нормального порядка», о которых говорит Н. Н. Страхов,¹⁸³ когда характеризует кое-кого из членов кружка Достоевских в первый период его формирования. Именно тогда, когда в него входил и Валиханов, эти темные страсти, «эта странная эманципация плоти действовала», по словам Страхова, «соблазнительно и в некоторых

случаях повела к последствиям, о которых больно и страшно вспоминать: погибали вовсе не худшие, а часто те, у кого было слабо себялюбие и жизнелюбие, кто не расположен был слишком бережно обходиться с собственной особой». Валиханов и принадлежал к этим «вовсе не худшим», и погибал действительно оттого, что не умел бережно обходиться с собою. С Крестовским он вел в присутствии других членов кружка «гусарские разговоры»; люди, очевидно, «оголялись», рассказывая о своих похождениях. Но в самих этих «гусарских разговорах» ощущалась глубокая разница между психическим строем человека, еще не потерявшего свою прежнюю душевную чистоту, и человека, в основе своей нравственно нечистоплотного, каким был Всеволод Крестовский.

На перепутьи между дурным равновесием ставрогинской маски и Версиловым — носителем великой идеи о будущем счастливом человечестве, когда начальный Его образ «хищного типа», пребывающего во зле, начинает понемногу смягчаться, и младший брат, вскоре сын (будущий Подросток), подпадает под Его обаяние, несмотря на все Его дурные поступки, о которых Он сам же постоянно рассказывает, — именно в этот момент в воображении художника и всплывает *поздний* Валиханов.

«Главное желание Его (т. е. будущего Версилова), — читаем мы в одной из черновых записей, — это толковать, что порок вовсе не отвратителен. Он ненавидит женевские идеи (т. е. человеколюбие) и не признает в добродетели ничего натурального». Казалось бы, это подходит больше всего к образу еще «хищного типа». Но тут же, через несколько строк, такая запись: «Его самоубийство — Подросток заступает Его место на земле. . . О Нем Подросток говорит надгробное слово: «Он был слишком совестлив». И следует такое пояснение: «Если б я был чиновник или буржуа, говорит Он, я бы желал порядка, спокойствия, чтоб покомфортнее прожить. . . Мало того: сам бы поддерживал порядок. Но так как я честен и совестлив, то я (с атеизмом) хочу откровенно разрушения и злодейства. . .» Но, — добавляется дальше, — «не справился с злодейством и загрызла совесть».

О «злодействе», о своих порочных поступках он и рассказывал Подростку в двойственном своем ощущении: было покаяние, «совесть грызла», но сказывалась и основа «хищного типа»: «Как Руссо находил наслаждение, заголи-

ваясь, так и Он находил сладострастное наслаждение заголиваться перед юношей, даже развращать его полною своею откровенностью. Наслаждается его недоумением и удивлением». И тут же еще раз о «заголивании»: «Он сам говорит юноше. Жена его тоже все знает, до юноши он заголивался при ней». Но нужно сделать еще один шаг, удаляясь от образа «хищного типа»; сладострастное наслаждение в «заголивании», в откровенном высказывании своих грехов заслоняется в нем его стремлением к «благообразию». Дается поэтому последний вариант: «Потом, в конце, когда жена умерла, Лиза повесилась, а мальчик сбежал, он исповедывается сыну и говорит, что перенести не может образов; все рассказывает, как заголивался (страшное *простодушие*, *Валиханов*, *обаяние*)».

Простодушие, обаяние этого про-тодушия — черта эта пронесется через все черновики вплоть до окончательного текста, где он рассказывает Подростку дважды о своем прошлом: как началась история с матерью Подростка и с «уездным Урием», Макаром Долгоруким.

XXIII

Мелькал перед Достоевским в это же время еще один образ из запомнившихся ему на всю жизнь: Надежды Прокофьевны Суловой,¹⁸⁴ с которой он познакомился в самом начале 60-х годов, по всей вероятности, одновременно с сестрой ее Аполлинарией Прокофьевной, оставившей в его личной жизни и в целом ряде его литературных произведений след очень большой.¹⁸⁵ Это первая женщина — доктор медицины в России. Она была вольнослушательницей Петербургского университета, потом Военно-хирургической академии. Весною 1863 г., из Академии исключенная, она уехала в Швейцарию, поступила в Цюрихский университет, окончила его в 1867 г., блестяще защитив докторскую диссертацию, которую признали весьма ценной в научном отношении. Убежденный крайне левых, Сулова печатала рассказы в «Современнике» Некрасова, участвовала в революционном движении и долго находилась под надзором полиции. Достоевский был с ней очень дружен. В письме от 19 апреля 1865 г.¹⁸⁶ он пишет ей: «Я в каждую тяжелую минуту к Вам приезжал отдохнуть душой, а в последнее время исключительно только к Вам одной и приходил, когда уж очень бывало наболит в сердце. Вы

видели меня в самые искренние мои мгновения. . . » И дальше: «Я Вас высоко ценю, Вы редкое существо из встреченных мною в жизни, я не хочу потерять Вашего сердца. Я высоко ценю Ваш взгляд на меня и Вашу память обо мне. . . У Вас теперь юность, молодость, начало жизни — экое счастье! Не потеряйте жизни, берегите душу, верьте в правду. Но *ищите ее пристально всю жизнь*, не то — ужасно легко сбиться. Но у Вас есть сердце, Вы не собьетесь. . . Вы мне как молодое, новое дороги, кроме того, что я люблю Вас как самую любимую сестру».

Это единственное письмо Достоевского к ней, которое сохранилось. Но есть основание думать, что они состояли в переписке довольно долгое время. В этом же письме Достоевский писал ей: «Вы мне всегда будете очень памяты». И почти через три года он так говорит о ней своей племяннице С. А. Ивановой-Хмыровой:¹⁸⁷ «На днях я прочел в газетах, что прежний друг мой, Надежда Сулова, выдержала в Цюрихском университете экзамен на доктора медицины и блистательно защитила свою диссертацию. Это еще очень молодая девушка, редкая личность, благородная, честная, высокая!»

Когда замысел уже окончательно устанавливается на Подростке как главном герое: «Вообще в лице подростка выразить всю теплоту и гуманность романа, все теплые места, заставить читателя полюбить его», — го сразу же подчеркивается и финал романа, «последняя его страница», ее нужно «выработать знаменательнее и поэтичнее». Кончается роман вопросом Подростка: «где правда в жизни? (которой он ищет во все продолжение романа)». И когда на последней странице он похоронил Его, посетив Долгушина и проч., то грустная торжественная мысль: «Вступаю в жизнь». «Гими — быть правым человеком. Знаю, нашел, что добро и зло — говорит он». Но к правде Подросток должен прийти через «муки». «Он вращается в разных средах и всюду разочарование. И с оскорбленной душой со всех сторон не знал к кому пойти». И вот следует: «. . . Однажды пошел к Надежде Прокофьевне, заметил ее по симпатичному ее взгляду. Сидел у нее вечер. Та занималась; вышла: «никогда, никогда не откажусь от этой светлой идеи». И следует дальше: «Подросток вышел с умилением».

Именно умилением перед теми же высокими качествами ее души и украшен тот сложный комплекс чувств, кото-

рый Ахмакова вызывает в Подростке. Черты студента 60-х годов придает ей автор, снимая с нее маску великосветскости. «Как студент со студентом говорили они часто. . . читали «факты». . . по целым часам говорили про одни только цифры, считали и примеривали, заботились о том, сколько школ у нас, куда направляется просвещение, мы считали убийства и уголовные дела, сравнивали с хорошими известиями. . . Хотели узнать, куда это все стремится, и что с нами самими, наконец, будет». ¹⁸⁸ — Совсем как студентка Надежда Суслова, активная работница в знаменитых тогда воскресных школах. В одном месте в черновиках есть об Ахмаковой такая запись: «Ахмакова увлечена идеями социализма, которые проповедует ей Васин».

Разумеется, и здесь речь идет не о прототипности в тесном смысле этого слова. Этим сопоставлением Ахмаковой с Сусловой еще раз подтверждается лишь тот факт, что в состав того материала, из которого Достоевский строил свои *громоздкие* здания, входили реальные, живые лица, черты их характера, так, как они им воспринимались, события из личной жизни этих лиц: не только идеи и их носители, не только проблемы, связанные с текущей действительностью, а люди, с которыми он встречался, ставил себя к ним в *определенные отношения*.

В одном месте из черновиков намечается такой мотив: Подросток едет из Москвы в Петербург с падчерицей «хищного типа», с Лизой, и говорит ей сначала, что отец его (будущий Версиков) домашним секретарем у министра, «у какого — позвольте мне умолчать», жена министра — княгиня. Автор прибавляет здесь: «тон фатишки (Паша)». — Это, конечно, его пасынок, Павел Александрович Исаев, которому он однажды писал: ¹⁸⁹ «У тебя на уме хвастовство, задать шику, тону». Хвастался Исаев близостью своей с Достоевским и с начальниками тех учреждений, в которых он служил, тратил нередко последние деньги на галстуки, на манишки, чтобы пофорсить. Таким он был в молодости, таким он оставался и женившись, имея уже несколько детей.

В черновых записях к третьей части Подросток говорит о кружке Дергачева, о долгушинцах: «Дергачев. . . разве это не благородно? Они заблуждались, они мелко понимали, но они жертвовали собой на *общее великое*

дело». . . И дальше: «Я заметил, что в русских юношах потребность жертвовать собой. Я же так мало сделал». И тут же добавление от автора: «А то что в тех юношах, что аблокатишка и инженеры с дистанции (*Александр Александрович*)». Мысль, очевидно, была: молодежи, идущей в революцию, этим благородным юношам, жертвующим собою «на общее великое дело», противопоставить мелких карьеристов, инженеров и адвокатов, продающих себя господствующему классу. *Александр Александрович* — это, конечно, племянник Достоевского, сын сестры Веры Михайловны, по мужу Ивановой. Он учился вначале в Московском университете, оставил его и занялся, по выражению Достоевского в одном из писем к С. Ивановой,¹⁹⁰ «таким неблагоприятным делом как инженерство путей сообщения». Этот Александр Александрович служил в Кременчуге в управлении Харьково-Николаевской железной дороги, дослужился до большой пенсии, был трижды женат, постоянно мечтал стать хозяином на своей ферме. «Все мы, Ивановы, — большие эгоисты и при этом гордецы» — так он сам однажды охарактеризовал себя.¹⁹¹

К реальному же лицу восходит и хозяин квартиры Подростка, Петр Ипполитович, рассказывающий анекдот о камне: как «один мещанин, и еще молодой, ну, знаете, русский человек, борода клином, в долгополом кафтане и чуть ли не хмельной немножко», «утер нос» мудрым англичанам. Чтобы снести камень возле Павловских казарм, англичане потребовали пятнадцать тысяч рублей серебром, а мещанишка взял всего сто рублей.¹⁹² В этой страсти Петра Ипполитовича рассказывать подобные анекдоты Версифов видит «стремление о чем-нибудь общечеловеческом, поэтическом поговорить», удовлетворить свое «чувство патриотическое, свою любовь к ближнему: ведь он и нас хотел осчастливить».

В черновиках этот рассказчик носит фамилию «*Маркус*»: Маркус, рассказывающий, «как на лодке дали знать купцы в Англию в три дня. . . О видении шведского короля» и т. д. И то же объяснение: «хочется сообщить, чтобы наградить счастьем слушателя, и для того, чтобы быть достойным всего прекрасного и высокого». Летописец семьи Достоевских Андрей Михайлович Достоевский вспоминает добрым словом эконома в больнице на Божедомке, где состоял лекарем отец Достоевских Михаил Андреевич, Федора Антоновича Маркуса:¹⁹³ «Его квартира была

в том же каменном флигеле, как раз над нашей квартирой и такого же расположения. Как ближайший сосед, он хаживал к нам и часто проводил вечера, разговаривая с папенькой и маменькой». Рассказывал он, очевидно, действительно очень «интересные анекдоты» в соответствии с культурным уровнем родителей Достоевского, умственно ограниченного отца и наивно сентиментальной матери. На мальчика 8—10 лет, Андрея Достоевского, рассказы эти производили чарующее впечатление: «Я бывало, уставлю на него глаза, только и смотрю, как он говорит, и слушаю его».

XXIV

«Чтобы написать роман, надо запастись, прежде всего, одним или несколькими сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора действительно. В этом дело поэта. Из этого впечатления развивается тема, план, стройное целое. Тут дело уже художника, хотя художник и поэт помогают друг другу и в том и в другом — в обоих случаях». Так, помним мы, разграничил Достоевский, еще в самом начале работы над «Подростком», момент возникновения художественного замысла и процесс дальнейшего его развития. Этих впечатлений, действительно пережитых сердцем автора, — от фактов, событий, идей и лиц из окружающей современной действительности и из далекого и близкого прошлого, — как видно из предыдущих глав, — было у него слишком много. И в этом, очевидно, источник того «недостатка», на который указал ему Страхов, что он «не управляет своим талантом», чересчур загромождает свои произведения, чересчур их усложняет: «вместо двадцати образов и сотни сцен следовало бы остановиться на одном образе и десятке сцен». ¹⁹⁵ Достоевский сам сознавал этот свой «главный недостаток». «Да, — отвечал он Страхову, — я страдал этим и страдаю; я совершенно не умею, до сих пор (не научился), совладать с моими средствами. Множество отдельных романов и повестей разом втискиваются у меня в один, так что ни меры, ни гармонии». ¹⁹⁶ Из каждого пережитого впечатления вырастала своя тема, свой план; «дело поэта», «сила поэтического порыва» мешала «делу художника», созданию «стройного целого», оказывалась, как он говорит, «сильнее средств исполнения». Достоевский писал Страхову, что он «страдал от этого сам уже многие годы»; но осознал ясно, осознал это

после «Бесов», по поводу которых и было «суждение» Страхова.

Сиял перед Достоевским идеал «гармонии», полное согласие между «делом поэта» и «делом художника» — творчество Пушкина, и к нему-то он и обратился, когда встал, в связи с «Подростком», тот же вопрос: как устранить этот «главный недостаток», избежать той ошибки в «Идиоте» и в «Бесах», где «второстепенные происшествия, второстепенные эпизоды затемняли главную цель, а не разъясняли, и читатель, сбитый на проселок, терял большую дорогу, путался вниманием». Как мы знаем, еще летом 1874 г. стало сказываться это губительное многообразие «пережитых сердцем» впечатлений; планы к «Подростку» расплзались в разные стороны. И вот он — какой уже раз! — снова и снова перечитывает Пушкина. «После кофе утром, — пишет он жене из Эмса от 16 июня, ¹⁹⁷ — я что-нибудь делаю; до сих пор читал только Пушкина и упивался восторгом, каждый день нахожу что-нибудь новое». И на Пушкина опираясь, Достоевский дальше в разработке сюжета смелее делает свои неожиданные повороты.

Когда в черновиках Достоевский дает впервые Подростку его идею «стать Ротшильдом», «первым человеком, царем всем и каждому», который «может отомстить всем обидчикам, отомстить или сделать бесконечно много добра», то он сразу дает ему черты «Скупого рыцаря»; «его система — копление, сила воли, характер, уединение и тайна». И тут же: «...Поражает его нищий, имевший в подкладке 20 000». Этот нищий во всем себе отказывал; силу воли, характер он проявил в том, что ставила себя выше обычных человеческих страстей; мог бы наслаждаться в жизни, как и все люди; наслаждаться сладострастно их робким преклонением. «Все-то меня не хотят и приметить, высокомерно проходят мимо, а чуть обратятся ко мне, то непременно свысока и даже презирая. А если б знали, что я уже сила, что еще несколько времени и я вдруг явлюсь, даже теперь могу явиться!» Но — следует цитата из Пушкина — «С меня довольно сего сознания». В окончательном тексте, в пятой главе первой части, где подробно развивается идея Подростка, «Скупой рыцарь» прямо и указан как первоисточник: «Я еще в детстве, — говорит Подросток, — выучил наизусть монолог Скупого рыцаря у Пушкина, выше этого, по идее, Пушкин ничего не производил! Тех же мыслей я и теперь».

Первоначально идея Подростка «стать Ротшильдом» должна была пройти по всему роману, быть одним из основных композиционных факторов. Когда же ее отодвинула идея «благообразия», то вновь открылись широко двери для всех «тем и планов», развивающихся из «пережитых сердцем впечатлений». «Благообразию» должно быть противопоставлено «безобразие» в разных формах и видах, чтобы Подросток вступил на правильный путь после долгих борений и нравственных исканий. И вот тогда вопрос о «средствах», о создании «стройного целого» снова встал с той же остротой. И снова автор обращается к Пушкину. 13 августа, как мы знаем, появилась впервые мысль: «писать от себя. Начать словом Я». Все события должны быть рассказаны в виде «исповеди великого грешника», т. е. Подростка. «Начать прямо и сжато: как и почему захотел быть богатым. Когда явилась идея... И уже после о том, что у него отец в Петербурге и кто его отец, и как он туда поехал» и т. д. . . «Исповедь необычайно сжато (учиться у Пушкина)».

Форма «исповеди», рассказ Подростка «от Я» — это нечто вроде компромисса со своим «главным недостатком»: можно «множество отдельных романов и повестей втискивать в один», в центре будет Подросток; все должно быть передано сквозь призму его души, как ступени его нравственного восхождения. Следует запись, уже раз приведенная нами: «В конце романа (исповеди) смысл тот, что он, Подросток, всем виденным и пережитым поражен, раздавлен, собирается с духом и мыслями и готовится переменить на новую жизнь. Гимн всякой травке и солнцу (финальные строки)... «Таким образом сам собою вырисовывается тип юноши (и в неловкости рассказа и в том «как жизнь хороша» и в необыкновенной серьезности характера. Как в повестях Белкина важнее всего сам Белкин, так и тут прежде всего обрисовывается подросток)». Но само собою разумеется, это сближение с Белкиным намечает отдаленно лишь некую тенденцию, оправдывает в какой-то мере самую форму «от Я». Пушкинскую прозу, в частности «Повести Белкина», воспринял как устарелую Толстой, при всей новизне своего художественного метода гораздо более приверженный старым литературным традициям, чем Достоевский: «Теперь справедливо в новом направлении *интерес подробностей чувства* заменяет интерес самых событий. Повести Пушкина голы

как-то». ¹⁹⁸ «Интерес подробностей чувства», уход «извне во внутрь», глубина и тонкость психологического анализа — это ведь и есть «средства» к познанию окружающего мира.

Вторая ориентация на «Повести Белкина» формулирована уже более ограниченно: «Вообще в лице подростка выразить всю теплоту и гуманность романа, все теплые места (И. П. Белкин), заставить читателя полюбить его». Это уже следование Пушкину не столько в смысле композиции, сколько эмоционального освещения главного персонажа. Остается все же вопрос: как быть с этим «главным недостатком», с этим множеством тем и планов, десятками образов и сотнями сцен? И прежде всего, можно ли, естественно ли будет передать 19-летнему Подростку, как автору, эту манеру свою: событие из внешнего мира представлять всегда как «последний» акт драмы, где «полемибитвым является сердце», внутренний мир человека?

«Форма, форма! — восклицает Достоевский, — (простой рассказ à la Пушкин)». «Т. Е., — поясняется через несколько строк, — тон таков. Рассказ, например, Его (Версилова) отношений к княгине Ахмаковой... Они расстались врагами. И вот в каком положении застал дело Подросток и т. д. Т. е. à la Пушкин — рассказ обо всех лицах второстепенно: первостепенно лишь о Подростке, т. е. поэма посвящена ему. Он герой». И не только в этом отношении подражать Пушкину. Важнее всего придерживаться пушкинской последовательности в ходе развития действия, сжимать себя в тиски его мудрой словесной и сюжетной сдержанности: «Писать по порядку, короче à la Пушкин... «Короче писать». (Подражать Пушкину)». И крупным почерком: «Совершенно быстрым рассказом по Пушкински».

Так мечтал Достоевский в первой стадии работы над «Подростком», что Пушкин будет служить ему опорой в его стремлении избавиться от «главного недостатка». Но осилил, конечно, «недостаток». Страхом был прав, когда писал Достоевскому: «Недостаток этот, разумеется, находится в связи с Вашими достоинствами». «Ослабить творчество, понизить тонкость анализа», остановиться на одном образе и десятке сцен вместо двадцати образов и сотен сцен — Достоевский органически не мог.

Отошли от пушкинской прозы очень далеко все крупнейшие современные писатели: и Тургенев, и Гончаров, и

Лев Толстой. С Тургеневым Достоевский был связан еще с 40-х годов и часто сравнивал свою литературную судьбу с его судьбой, как и с судьбой Гончарова, о котором всегда отзывался как о замечательнейшем нашем романисте. Но оба они «чужие» по своему художественному методу. В частности, про Тургенева сказано так в одной из черновых записей к «Подростку»:

«Слишком сильная *бесспорность* признания иных писателей значительными и даже великими свидетельствует о неглубокости этих писателей, о том, что они «по плечу» золотой середине (Тургенев)».

Достоевский упрекает Тургенева именно в элементарнейшем незнании человеческой души. «... — пишет он о нем в другом месте, — Тургенев в суждении об убийце только тупость соображения и воображения». — Это по поводу слов в «Казни Тропмана»: «Сдавалось, мы не в 1870 году, а в 1794; мы не простые граждане, а якобинцы, и ведем на казнь не вульгарного убийцу, а маркиза-легитимиста». «Сдавалось ему», Тургеневу, так, ударился в фальшивую романтику оттого, что человеческой души не знает. Тургенев пишет дальше: «Обыкновенно осужденные на казнь, по объявлении им приговора, либо впадают в совершенную бесчувственность и как бы заранее умирают и разлагаются, либо рисуются и бравируют, либо, наконец, предаются отчаянию, плачут, дрожат, умоляют о пощаде... Тропман же не принадлежит ни к одному из этих трех разрядов». И вот Тургенев никак не может «объяснить этого спокойствия, этой простоты и как бы скромности Тропмана: то ли он фигурировал перед зрителями, врожденное ли бесстрашие, самолюбие ли, гордость борьбы... или другое еще неразгаданное чувство».¹⁹⁹

Никакого «неразгаданного чувства» здесь не было, все это «из книжки», из «литературы», утверждает Достоевский. Тургенев же сам пишет дальше, что «отвернулся от зрелища». «Тупостью воображения и соображения» — вот чем нужно объяснить спокойствие Тропмана.

Нет, Тургенев ему, Достоевскому, совершенно чужд. А Гончаров еще в 50-х годах был охарактеризован Достоевским как «блестящий талант, но с душою чиновника без идей и с глазами вареной рыбы». Он слишком спокоен, слишком далек от волнующих вопросов сегодняш-

него дня. А про «Обрыв» сказано позднее Достоевским: «Экая старина! Экая дряхлая пустыньская мысль!»

Здесь речь не о том, прав ли Достоевский в своих суждениях и каким чувством продиктованы его суровые оценки. Важно его сознание, что с ними ему совершенно не по пути. Среди названных трех крупнейших писателей только Толстой, о котором, по поводу его «Анны Карениной», Достоевский сказал: «Такие люди — суть учителя общества, а мы лишь ученики», — только Толстой тоже отличался тонкостью анализа, строил свои сюжеты очень сложно, тоже вводил в них множество образов и сцен. Вот с кем можно себя сравнивать. Намекает на это и Страхов, когда пишет Достоевскому о «главном его недостатке»: «Очевидно — по содержанию, по обилию и разнообразию идей Вы у нас первый человек, и сам Толстой сравнительно с Вами однообразен».

В устах Страхова, писавшего тогда свои известные статьи о «Войне и мире», как о великом русском «новом слове», равного которому нет не только в русской, но и в мировой литературе, это звучит, может быть, не совсем искренно, — важен факт: когда думаешь о Достоевском, о чрезвычайном богатстве его идей и образов, то на память приходит именно Лев Толстой.

И Достоевский во всех стадиях работы над «Подростком» о Толстом думает неустанно. Детство Аркадия Долгорукова — и детство Николиньки Иртеньева; Левин — и Версилов; «Анна Каренина» начала печататься одновременно²⁰⁰ с «Подростком». И, главное, вся галерея образов «из Московского средне-высшего света» у Толстого, наиболее рельефно показанная в «Войне и мире», — и его, Достоевского, растерзанные люди из «Подполья». И здесь особенно характерна его крайняя заинтересованность. Не с тем, чтобы следовать Толстому в уменьи создавать «стройное целое», проводит он параллель между собою и им. Он идет преимущественно, так сказать, по содержанию, в полном убеждении, что «средства» содержанием и определяются. На нем, на творчестве Толстого, он стремится осознать свое своеобразие, утвердить законность своего пути. Еще больше: свое единственное право на всеобъемлемость; он и только он, а не Толстой понимает Россию, создает истинно широкие типы.

Еще в самых первых набросках, когда Лиза еще не дочь Его (Версилова), а падчерица, и Подросток впер-

вые знакомится с нею в поезде, по дороге из Москвы в Петербург, мы встречаем такую фразу: «Нет, — говорит она Подrostку, — это вы поэт мелкого самолюбия, а не граф Толстой». Смысл этих слов поясняется в другом месте, в черновиках ко второй части романа, там, где Достоевский, как будет показано дальше, пытается выступить с возражением против критиков, отрицательно отзывавшихся о первой его части: «Представителями мелкого самолюбия» кажутся ему все «герои, начиная от Сильвио (в «Выстреле» Пушкина) и «Героя нашего времени» до князя Болконского и Левина». Николинька Иртеньев в «Детстве» тем более герой самолюбия — «маленький герой большого самолюбия».

Князь Болконский и Левин, — Достоевский называет его в одном месте «грустный Левин», — люди неудовлетворенные, в какой-то мере тоже ненужные, страдающие. Посмеиваясь над ними, Достоевский в то же время мимоходом задевает всю старую литературу, как бы себя одного ей противопоставляя. Сильвио, «герой нашего времени», Болконский и Левин «дурно воспитаны; они могут исправиться, потому что есть прекрасные примеры (Сакс в «Полиньке Сакс», тоже немец в «Обломове», Пьер Безухов, откупщик в «Мертвых душах)». Пьер Безухов рядом с «немцем», неудачным Штольцем, и гоголевским «идеальным откупщиком» во 2-м томе «Мертвых душ» — это звучит почти издевательски. Другое дело — Ростов, туповатый, самоуверенный, корнями сидящий в старых дворянских традициях; здесь крепкая, установленная форма, полная душевная гармония, «нажитые Ростовы», нажитые всей прошлой дворянской культурой; это ее венец, тип, который она выработала.

В окончательном тексте об этом законченном типе Ростовых пишет Подrostку его бывший воспитатель Николай Семенович, появляющийся в эпилоге романа в роли резонера, высказывающего взгляды самого Достоевского. Этот «воспитатель» воображает себе некоего «идеального русского романиста», который хочет представить «хоть вид красивого порядка и красивого впечатления, столь необходимого в романе для изящного воздействия на читателя». Положение такого романиста было бы совершенно определенное: «он не мог бы писать в другом роде, как в историческом, ибо красивого типа уже нет в наше время... О, и в историческом возможно изобразить

множество еще чрезвычайно приятных и отрадных подробностей! Можно даже до того увлечь читателя, что он примет историческую картину за возможную еще в настоящем». Это, конечно, «Война и мир» и преимущественно именно семейство Ростовых: Болконский и Пьер Безухов уже «выступают из этого красивого порядка». И тут же Николаем Семеновичем дается и оценка всей эпопее и всему творчеству Толстого. «Такое произведение, при великом таланте, уже принадлежало бы не столько к русской литературе, сколько к русской истории». Смысл ясен: к русской литературе относится то, что изображает современность, теория натуральной школы Белинского запомнилась Достоевскому навсегда. Толстой с его «Войной и миром», при всей великости его таланта, — это уже прошлое, «ушло в область истории». «Это была бы картина, художественно законченная, русского миража, но существовавшего действительно, пока не догадались, что это мираж».

И дальше уже переход от «Войны и мира» к «Анне Карениной»: внук тех героев, которые были изображены в картине миража, в картине, изображавшей «русское семейство средне-высшего культурного круга в течение трех поколений сряду и в связи с историей русской», этот «потомок предков своих уже не мог бы быть изображен в современном типе своем иначе, чем в несколько мизантропическом, уединенном и несомненно грустном виде». — Это уже, конечно, Левин, «грустный Левин», как он уже однажды назван в черновиках. И нечто как бы от злорадства звучит в следующих словах: этот потомок «даже должен явиться каким-нибудь чудачком, которого читатель, с первого взгляда, должен был признать, как за сошедшего с поля, и убедиться, что не за ним осталось поле». С первого ли только взгляда? Ясно предвидится: «Еще далее — и исчезнет даже и этот внук — мизантроп; явятся новые лица еще неизвестные и новый мираж». Удивительные слова: «явятся новые лица» и «новый мираж». Что это? Заранее оценка будущих творений Толстого как самого талантливого представителя дворянской литературы: какие бы типы он ни создавал, все будет мираж, а не действительность? Очевидно, так.

Кончается дворянский период в истории, вместе с ним и вся помещичья литература. У Толстого «великолепно», но это уже «последнее помещичье слово». Даже Решетников гораздо интереснее, хотя бы как предвестник но-

вого уже слова в литературе. Это из письма к Страхову тех же лет.

Нет надобности гадать о том, что именно внушило Достоевскому столь пристрастное отношение к Толстому, почему он так субъективен в оценке его творчества, что не учел даже, насколько он противоречит самому себе, своим же словам: «Такие люди суть учителя общества, а мы лишь ученики». Примем как факт, в высшей степени ценный, самое противопоставление Толстому себе, с точки зрения именно социальной: там литература дворянская, его же, Достоевского, область — жизнь «случайных семейств», «разночинцев».

Эту литературную позицию свою Достоевский подчеркивает еще более резко в одной черновой записи с набросками ответа некоторым критикам, поспешившим высказаться по поводу первой части «Подростка», напечатанной в январской и февральской книжках «Отечественных записок». Запись точно датирована: 22 марта 1876 г. К этому времени поиски формы уже давно кончились; выяснены основные сюжетные узлы следующих двух частей; центральные лица романа, Версиков и Аркадий Долгорукий, успели уже обнаружить основные черты своих сложных, изломанных характеров, и критика увидела в них лишь новые вариации на старые темы. Я разумею, главным образом, две рецензии: Авсеенко и «Заурядного читателя» — Скабичевского. Авсеенко, за подписью А. О., напечатал в «Русском мире»²⁰¹ две статьи о «Подростке» под общим заглавием «Очерки текущей литературы» и с таким ядовитым подзаголовком: «Чем отличается роман г. Достоевского, написанный для журнала «Отечественные записки», от других его романов, написанных для «Русского вестника». Нечто о плевках, пощечинах и т. п. предметах». Реакционный критик, постоянный сотрудник Каткова, уже одним этим сопоставлением двух журналов явно намекает на ту «идею», которую, как пишет Достоевский в письме к жене от 6 февраля 1875 г.,²⁰² «распространял о нем Майков», т. е. что он вновь предался радикалам из «гнезда Некрасова». Говоря о крайнем натурализме «Подростка», где «изображается грязь и нечистые явления без соблюдения границ приличия и вкуса» и «все это маскируется мнимой глубиной психологического анализа и морализацией à la Жан-Жак Руссо», Авсеенко делает такой вывод: «Если считать ядо-

витыми для общества сладострастные изображения французских романистов, то еще более ядовитую надо считать литературу, которая держит читателя в смрадной атмосфере «Подполья». И добавляется, в пику «Отечественным запискам», что Катков такой грязи не допустил бы, — намек на историю с «Исповедью Ставрогина», которая была из «Бесов» изъята по велению Каткова.²⁰³

Достоевский на эту брань здесь не отвечает. При случае он вспомнит о ней и напишет через год (в апрельском номере «Дневника писателя» за 1876 г.)²⁰⁴ уничтожающую статью об Авсеенко, не столько как о романисте, сколько именно как о критике, который решительно ничего не понимает в русской литературе. Но у Авсеенко имеются еще и другие обвинения, ставшие уже общими местами по отношению к творчеству Достоевского, и на них отвечать следует; это — незнание реальной действительности и замена ее фантастическим изображением душевнобольных, людей из «подполья». «Автор, — пишет Авсеенко, — снова вводит читателя в душное и мрачное подполье, где копошатся недоучившиеся маньяки, жалкие выскребки интеллигенции, безвольная и бездельная желчь, люди, «съеденные идеей», спившиеся фразеры и тому подобная тля, возможная только при условиях подпольного, трущобного существования». Причем, — говорит дальше Авсеенко, — слабые стороны таланта автора выступают в этом романе особенно ярко. — Мы снова слышим эти «бесконечные разговоры между лицами одного и того же типа, выражающимися одним и тем же языком», видим «отсутствие всякого действия... невыясненность и так сказать недействительность большей части лиц».

Все это в первой статье Авсеенко. Во второй — отсутствие у Достоевского чутья действительности подчеркивается им еще резче. «В художественном таланте Достоевского есть стороны, где он является мастером, но есть нечто, постоянно мешающее ему попасть на эти стороны... Это фатальное нечто — полное незнание действительной жизни, привычка смотреть на многие явления жизни сквозь призму какого-то особенного, в высшей степени странного мирозерцания, не имеющего места в живой действительности».

И еще в другом месте статьи: «Было много раз сказано, что г. Достоевскому удаются наиболее изображения тех болезненных явлений жизни, которые стоят на черте,

отделяющей действительность от мира призраков». Следует дальше вопрос: «Зачем нужно было Олю (самоубийцу) бросить в дом терпимости? Автора просто покинуло чувство действительности, как покидает оно его каждый раз, когда он задается идеей — показать читателю всю глубину человеческого падения и ввести его в самые тайные гнездилища порока и разврата... Читатель продолжает чувствовать себя в нестерпимой атмосфере *грязного и мрачного подполья*». Делается намек (для чисто плотного аристократического читателя), что это объясняется биографией Достоевского: «Его (читателя) обступает какая-то *каторжная* жизнь, где на каждом шагу имеют место явления, *присущие острогу* или дому терпимости, — явления, изображаемые с тем отпечатком искренности, от которого под конец несказанно гадко становится на душе...» И еще раз: «Действуют не люди, а какие-то *выродки* человеческой расы, какие-то *подпольные тени*; часто одной чертой, очень простой, повидимому, и — целая бездна, отделяющая этот мир от действительности, в которой мы живем». — Так утверждает, что эти люди — порождение больной авторской фантазии. Достоевский не реалист, *действительности* он не рисует и не знает ее.

Любопытно, что в какой-то мере соглашается с Авсеенко и «Заурядный читатель», радикальный Скабичевский, в своей статье «Мысли по поводу текущей литературы», напечатанной в № 35 «Биржевых ведомостей». Если у Авсеенко руки оказались развязанными, чтобы ругать Достоевского, поскольку «Подросток» печатался не в «Русском вестнике», то Скабичевский, постоянный сотрудник «Отечественных записок», одно время даже один из редакторов этого журнала, должен был, наоборот, взять тон благожелательный по отношению к автору романа.

Скабичевский открывает свою статью цитатой из «Благонамеренных речей» Салтыкова-Щедрина, напечатанных в январской книжке «Отечественных записок» рядом с первыми главами «Подростка»:

«Саваны, саваны, саваны! Саван лежит на полях и лугах, саван сковал многоводную реку; саваном окутан дремлющий лес; в саван спряталась и русская деревня. Саваном покрылась наша русская жизнь, саваном окуталась и литература». «В виду такого общего савана, — продолжает критик, — я нахожу, что никогда романы г. Ф. Достоевского не были столь современны, как именно

в настоящее время. Прежде могло казаться, что у г. Ф. Достоевского слишком исключительный и односторонний взгляд на жизнь, что слишком странно и смешно смотреть на свет, как на дом умалишенных, и каждый психический процесс представлять непременно в *преувеличенном* или искаженном, патологическом виде, как это делает г. Достоевский. Прежде вас могло поражать, что в произведениях Ф. Достоевского буквально нет ни одного действующего лица, которое являлось бы перед вами вполне в здравом уме и не было так или иначе поврежденным в рассудке. Вы могли видеть в этом *полнейшую неестественность*, потому что где же в действительности, кроме разве одних сумасшедших домов, может случиться, чтобы целые кружки людей... состояли сплошь из полупомешанных?»

И дальше идет очень интересное рассуждение о том, почему это, «когда читаешь романы г. Достоевского, вы сами участвуете в галлюцинациях его героев и переживаете вместе с ними их нравственные муки». Объясняется это следующим: «В искусстве должен быть *предел*, за который оно не должно переходить в своем действии на сердце читателя, иначе оно перестает быть искусством, а делается уже самой жизнью, производя впечатление не образов творчества, а как бы *самих фактов жизни*... Вообразите, — продолжает Скабичевский, — что искусство не ограничивалось бы только тем, чтобы представить перед вами на сцене грозу как можно натуральнее и заставить вас почувствовать всю прелесть этой картины, но поставило бы себе целью произвести над вашими головами *настоящую* грозу и заставить вас подвергнуться всем ее неприятностям. Представьте себе, что на сцене герои драмы убивали бы друг друга *в самом деле*, а в представлении сражения над вашими головами свистели бы пули. Очевидно, что вам было бы не до эстетических восторгов и вы бежали бы из театра. Мне казалось всегда, что г. Достоевский переступает этот предел искусства и не ограничивается только тем, что представляет вам ряд своих поэтических образов, но самих вас заставляет участвовать в нравственных страданиях его героев». Это оттого, что он сам «на всю жизнь человеческую смотрит как на ряд патологических явлений, весь мир у него является завешанным каким-то сумрачным флером тоскливой меланхолии». Но теперь все это нужно оставить в стороне. «Саваны, саваны! — жизнь

действительно стала какой-то больной». Приводятся в доказательство многочисленные факты самоубийства, те самые, которые, как мы помним, использованы и в черновых записях к «Подростку».

У Скабичевского, как видим, подчеркнута не столько оторванность от действительности, незнание реальной жизни, сколько ее искажение. И то же «Подполье», люди, галлюцинирующие, пребывающие постоянно в каких-то нравственных муках. Тон, конечно, другой, чем у Авсеенко, но сущность все та же. Новым лишь кажется то обвинение, что Достоевский переступил предел искусства: гроза, ливень, свистящие пули у него слишком натуральны. Это значит, что у него не типы, не обобщения, а сплошь исключительности, ибо сам он смотрит на мир слишком исключительно, вся жизнь для него «ряд патологических явлений». Для Достоевского это должно было быть самым страшным укором. Эстетика Белинского, по которой искусство должно обобщать жизнь, оставалась для него истинной непреложной и в годы разрыва с идеологией 40-х годов.

На все эти обвинения и пытается отвечать Достоевский, утверждая в литературе свое место и свою художественную манеру, свои «средства». Скабичевский объясняет патологию своей эпохи тем, что «все наше историческое прошлое и настоящее прямо были направлены к тому, чтобы развить эти явления (болезненные) до последней крайности. Начать с того, что целый слой общества и, заметьте, самый интеллигентный, в продолжение двух столетий был изъят вполне от всяких мускульных упражнений и развивал в себе одни только нервы, за счет всего организма. Болезненная чуткость и раздражительность нервов, в эпоху сентиментализма и романтизма, считались признаками высшей природы, были предметом моды, щегольства, так что половой подбор был устремлен главным образом на приобретение этих качеств. Вместе с этим все воспитание было направлено к развитию самолюбия до крайних пределов, до болезненной щепетильности. В каждом ребенке воспитывали не честного и полезного гражданина, а непременно великого человека. Но условий для достижения цели не было; крепостное право мешало развитию воли». До тех пор пока существовала прежняя, хотя и плохая, гармония, все было спокойно. Но вот «ворвались новые идеи, и начались рефлексии, копания, раз-

двоение». В 60-х годах шумные события отвлекли от самокопания, казалось, что Рудины кончились. «Теперь — когда те времена прошли, опять появились Рудины. Таков и подросток».

Достоевский с этого «объяснения» Скабичевского и начинает. Отсутствие физкультуры в системе воспитания на протяжении целых двух столетий и крайняя нервозность в эпоху сентиментализма и романтизма, как главные причины современной общественной патологии, — это должно было казаться, по меньшей мере, наивным. Достоевский утверждает прежде всего максимальную *типичность* своих героев. Обвинение в том, что он не знает доподлинной жизни, Достоевский возвращает своим критикам. Это они «проходят мимо фактов. Не замечают. Нет граждан, и никто не хочет понатужиться и заставить себя думать и замечать. Я не мог оторваться, и все крики критиков, что я изображаю не настоящую жизнь, не разубедили меня».

Мысль дальше идет в указанном уже нами русле идей Чаадаева: «Нет оснований нашему обществу, не выжиты правила, потому что и *жизни* не было. Колоссальное потрясение — и все прерывается, падает, отрицается как бы и не существовало. И не внешне лишь, как на Западе, а *внутренне, нравственно*». Вот где истинная причина болезни нашего общества, именно большинства его. *Жизни не было* — жизни, в которой участвовало бы большинство народа. Разумеется, конечно, при крепостном праве. И следует за этим такая запись: «Талантливые писатели наши высокохудожественно изображали жизнь средне-высшего круга (семейного), Толстой, Гончаров думали, что изображали *жизнь большинства*, по-моему они-то и изображали *жизнь исключений*». На полях это противопоставление себя Гончарову и Толстому, как писателям «средне-высшего круга», получает еще более резкое выражение: «Напротив, *их жизнь есть жизнь исключений, а моя жизнь есть жизнь общего правила*. В этом убедятся будущие поколения, которые будут беспристрастнее, *правда будет за мною, я верю в это*».

Так переходит Достоевский ко второму, для него самому главному, пункту обвинения Скабичевского: в голом натурализме, в нарушении того предела между искусством и действительностью, когда получается впечатление «не образов творчества», а как бы самих фактов жизни. «Говорили, что я изображал *гром настоящий*,

дождь настоящий (не) как на сцене. Где же? Неужели Раскольников, Степан Трофимович (главные герои моих романов) подают к этому толки? Или, — следует приписка на полях, — в «Записках из Мертвого дома» Акульский муж например».

Но скажут: Степан Трофимович и Акульский муж тем и хороши, что они взяты не из «подполья». А! подполье и «Записки из подполья»! В ответ на это Достоевский так раскрывает основной идейно-психологический смысл своего творчества, вместе с этим и свои основные художественные приемы и тяготение свое, при отборе материалов для общего фона, ко всякого рода «ненормальностям»:

«Я горжусь, что впервые вывел настоящего человека русского большинства и впервые разоблачил его уродливую и трагическую сторону. Трагизм состоит в сознании уродливости... Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его и главное в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, а стало быть не стоит и исправляться. Что может поддержать исправляющихся? Награда, вера? Награды не от кого, веры не в кого. Еще шаг отсюда, и вот крайний разврат, преступление (убийство). Тайна». И точно имея в виду на этот раз главным образом Авсеенко, Достоевский продолжает: «Подполье, подполье, поэт подполья! Фельетонисты повторяют это как нечто унижительное для меня. Дурачки, это моя слава, ибо тут правда».

«Трагизм подполья», человека, страдающего в своей раздвоенности, самого себя казнящего, в душе своей осуждающего и других: «все таковы, и не за чем исправляться», ибо он ни в кого и ни во что не верит и ни от кого не ждет награды — такова самая нужная тема в современной литературе, если ее назначение изображать действительную жизнь русского большинства, а не доставлять эстетическое удовольствие.

И это самая нужная тема не только потому, что они теперь, эти люди подполья, составляют большинство — обобщение идет гораздо дальше. Мы читаем здесь такие строки: «Это то самое подполье, которое заставило Гоголя в торжественном завещании говорить о последней повести, которая выпелась из души его и которой совсем и не оказалось в действительности. Ведь может быть, начиная свое завещание, он и не знал, что напишет про

последнюю повесть». И следует такой вопрос: «Что это за сила, которая заставляет даже честного и серьезного человека так врать и паясничать, да еще в своем завещании?..»

Гоголь «врал и паясничал» в своем завещании, которым «Избранные места из переписки с друзьями» и открывается. Суровая оценка этой книги Гоголя в письме к нему Белинского перенесена здесь в плоскость психологическую.

Меньше всего ценилась Достоевским цельность, законченность психического склада европейца. Еще в «Зимних заметках о летних впечатлениях» стал он твердить вслед за Герценом, что там, в Европе, выработалась у людей «форма уже навеки», окончательная, там ни к чему не стремятся: мертвенность покоя навсегда установившегося мещанства.

Да, «сила эта русская» — это «сознание русским человеком своей уродливости, его самоказнь, его сознание лучшего и невозможности достичь его» — сейчас, т. е. в условиях тогдашнего общественного строя. В виде мечты о «золотом веке» — в отдаленном прошлом или в предстоящем будущем — во всех произведениях Достоевского противостоит издерганному человеку сегодняшнего дня чарующий образ воплощенной «красоты», истинной и полной гармонии. Только русский человек знает в настоящее время эту трагедию душевной раздвоенности, «трагизм подполья». «Русский человек» — разумеется, не народ, не «странники» Макары Долгорукие, а Версиловы, русские «скитальцы» из интеллигенции. Правду, истинный путь ко всеобщему счастью, которое во спасение всего человечества осуществит русский народ, в чем и заключается его историческая миссия, эти скитальцы постигают только в конце своих исканий. Но они ищут ее всю жизнь, и в этом и причина их раздвоенности. В Европе же именно не так; там люди цельны в ограниченности своих узколичных стремлений.

Только здесь единственный раз заговорил Достоевский так полно о себе, о своем месте в русской литературе, в оправдание своего «подпольного» героя и даже не только в оправдание, в его возвышение. Нам незачем гадать, намеренно или ненамеренно придал он этому герою своему смысл, очень мало ему соответствующий.

«Злым гением культурной России» назвал Горький Достоевского именно за «свой угол» этого «подпольного

человека», занимающегося будто бы самоказнью от сознания своей уродливости. Казнит своих «подпольных героев», исходя из своей идеологии смирения и покорности, в сущности, сам автор, герои же остаются обыкновенно верными до конца своей позиции, в своем праве мучить себя и других, наслаждаясь этими мучениями. Они ищут, по выражению Горького, «полной личной свободы, требуют, чтобы за ними было признано право всем пользоваться, всем наслаждаться, не подчиняясь ничему». Мучителем, видели мы, рисовался Достоевскому в начальной стадии работы над «Подрастком» и Версилов. Крайним же эгоистом остается он до конца, вплоть до печатной редакции. Достоевский, — говорит о нем Горький, — «подчеркивая в жизни лишь отрицательные стороны, закрепляет их в памяти человека, всегда рисует его беспомощным в хаосе темных сил и может привести его к пессимизму, мистицизму, вообще к пассивному отношению». В «Подрастке» пессимизму противопоставлена жизнерадостность «благообразия» Макара Долгорукого; сбавлен и его мистицизм; но ведь только сбавлен: в нем, в страннике, залог спасения именно потому, что он религиозен.

XXV

«Трагизм подполья» — так, видели мы, определил Достоевский свою общую тему, по отношению к которой каждый из его романов, начиная с «Преступления и наказания», есть только новая своеобразная вариация, соответственно новым условиям общественной жизни, новым «съедающим идеям» эпохи. Когда «Подрасток» был закончен печатанием²⁰⁵, о нем критики снова заговорили, и наиболее авторитетные среди них, критики из лагеря радикального. Ткачев и Скабичевский, — особенно первый, Ткачев, — сочли нужным сосредоточиться не столько уже на борьбе с его «эксцентрическими» идеями, сколько на разъяснении того типического, что действительно имеется в его «странных, больных» героях. Они заговорили именно о тех условиях, которые порождают этих людей, страдающих в своей раздвоенности, «самоказнящихся». Стало быть, путь его «психиатрический» не так уж далек от реальной действительности, он исторически законен, за образами его нужно признать объективную ценность.

На анализе черновых записей было показано здесь, что та сфера идей и фактов, из которой выросал «Подросток», заметно отличается от сферы идей предыдущего романа «Бесы». И это давало себя чувствовать и в окончательном, печатном тексте. К «Подростку» читатель мог отнестись с большим спокойствием.

Но очень может быть, на изменение отношений к этому роману повлияло еще то, что радикальная критика имела перед собою замечательный прецедент: попытку подойти к Достоевскому без «страстей и пристрастий», по крайней мере по тону, со стороны Н. К. Михайловского, — да еще как раз по поводу «Бесов»! Я разумею его статью в февральской книжке «Отечественных записок» за 1873 г.,²⁰⁶ когда Достоевский был уже второй месяц редактором «Гражданина» и успел уже резко выступить и против «старых людей»²⁰⁷ Белинского и Герцена, и против Некрасова.²⁰⁸

Михайловский говорит о Достоевском с самого же начала своей статьи как «об одном из талантливейших наших писателей». Несколько прекрасных фигур находит он и в «Бесах»; таковы фигуры идеалиста сороковых годов Степана Трофимовича Верховенского и знаменитого русского писателя Кармазинова, читающего свой прощальный рассказ «Merrill!» А фигуры супругов Лембке — «положительно безупречны».

И дальше, когда речь уже идет о тех героях, которые непосредственно выражают авторскую идеологию, — о Шатове, Кириллове, Ставрогине, Петре Верховенском, — Михайловскому эти образы кажутся бледными оттого, что они не своими идеями придавлены, а «идеями, обязательно изобретенными для них автором». И тут сейчас же прибавляется: «бледнее по крайней мере, чем они могли бы быть нарисованы рукой такого мастера».

Но кроме этих общих слов о таланте Достоевского, характерен самый метод полемики по существу идеи «Бесов»: «Мне очень хочется добраться вместе с читателем до их идеи. Г. Достоевский имеет полное право требовать, чтобы к его мыслям и произведениям относились со всевозможным вниманием и осторожностью». И критик действительно крайне внимателен и крайне осторожен. Он показывает Достоевскому его внутренние противоречия, упрекает в тенденциозности, в незнании или в намеренном игнорировании фактов жизни. Иногда ощущается,

что Михайловский с трудом сдерживает свое негодование, в особенности там, где он говорит об отношении Достоевского к Герцену и Белинскому в статье «Старые люди», по справедливости рассматриваемой им как некий комментарий к «Бесам» же. Но он все же сдерживает это негодование свое; прием спокойного анализа, не возбуждающего никаких посторонних эмоций, сохраняется до конца.

На Достоевского эта статья произвела огромное впечатление, и сказалося оно, как увидим дальше, именно в «Подростке». В № 8 «Гражданина» от 19 февраля 1873 г. Достоевский так на нее откликнулся: «Прочел я статьи гг. Скабичевского и Н. М. в «Отечественных записках». Обе эти статьи в некотором смысле были для меня как бы новым откровением; когда-нибудь непременно *надо поговорить* о них». ²⁰⁹ И еще раз, в № 27 «Гражданина» от 2 июля: «Я не могу забыть г. Н. М. из «Отечественных записок» и о «долгах» моих ему. Я не имею чести знать его лично и ровно ничего не имел удовольствия слышать о нем как о частном человеке. Но я всей душой убежден, что это один из самых искренних публицистов, какие только могут быть в Петербурге. . . Г. Н. М. в первый раз поразил мое внимание своим отзывом о моих отзывах о Белинском, о социализме и атеизме, а потом о моем романе «Бесы». Отвечать ему по поводу моего романа я немного упустил время, хотя и хотел было, но о социализме непременно отвечаю». ²¹⁰

Не ответил Н. М. (Михайловскому) Достоевский ни на его отзыв о романе, ни о социализме. Но кое-что, по существу, сказано здесь же, в этой второй заметке, очевидно о том, что особенно его задело в статье Михайловского: «Главное, никак не понять, что хотел мне сказать г. Н. М., уверяя меня, что социализм в России был бы непременно консервативен? Не думал ли он меня этим как-нибудь утешить, предположив, что я консерватор во что бы то ни стало. Смею уверить г. Н. М., что «лик мира сего» мне самому даже очень не нравится. Но писать и доказывать, что социализм неатеистичен, что социализм *вовсе не формула атеизма, а атеизм* *вовсе не главная, не основная сущность* его, — это чрезвычайно поразило меня в писателе, когорый, повидимому, так много занимается этими темами».

Слова, приписываемые Михайловскому: «социализм в России был бы непременно консервативен» — по меньшей

мере неточны. Михайловский нигде этого не утверждает, как нигде не пишет и не доказывает, что «социализм вовсе не атеистичен». Спор идет совсем о другом. Когда Достоевский в «Бесах», еще резче в комментарии к ним в «Дневнике писателя», противопоставляет передовой русской интеллигенции, социалистически мыслящей, исконную «народную правду», народные предания, «народные понятия о добре и зле», сложившиеся веками на основе христианской религии, и этой интеллигенции, «оторвавшейся от русской почвы», пророчит роль евангельских бесов: «они потонут, и Россия спасется Власами», — то Михайловский в ответ ему указывает на слишком широкую емкость этой «народной правды», на «стихийность и разнородность ее состава», в силу чего она одновременно включает в себе самые разнообразные «понятия о добре и зле», порою явно противоречивые. Какой же из этих разнородных «правд» следовать? — Вот основной вопрос по Михайловскому. Где критерий для точности определения, что именно вот это «понятие о добре и зле» выражает истинный дух народа, а не другое, ему противоположное? И отвечает так: «Человеку, если он хочет действовать, а не пребывать в состоянии индийского факира, «народ, мол, все равно спасет себя и нас», — остается одно из двух: либо «выбирать из народной правды то, что соответствует общечеловеческим идеалам, тщательно оберегать это подходящее и при помощи его стараться изгнать неподходящее, или же навязывать народу свои идеалы и стараться не видеть неподходящего». Социалистическая интеллигенция, эти, по Достоевскому, оторвавшиеся от народной почвы «общечеловеки», избирают первый путь, и «этим они вовсе не грешат против народной правды, против хотя бы некоторых из ее элементов».

Так Михайловский дальше и обращается к Достоевскому: «Г. Достоевский, вы просмотрели любопытнейшую и характернейшую черту нашего времени. Если бы вы не играли словом «бог» и ближе познакомились с позорным вами социализмом, вы убедились бы, что он совпадает с некоторыми по крайней мере элементами народной русской правды».

Вот про эту-то мысль Достоевский и говорит, что она была для него *откровением*. Говорит явно неточно, поскольку она восходит к тому комплексу идей, который он усвоил еще в эпоху 40-х годов. «Русский социализм», «об-

щинный», как и утопический социализм Французский, действительно не обязан был считать атензм «своей главной, основной сущностью». Французские утописты так и заявляли о себе, как об обновителях, а не как о разрушителях христианства. И если сам Михайловский, говоря об этом совпадении социализма с «народной русской правдой», даже и не упоминает о каких-то религиозных основах этой правды, то Достоевский, по ассоциации со своим пониманием «народной правды», уловил в его словах именно то, что его так «поразило»: «социализм вовсе не атеистичен».

И вот в «Подростке» Достоевский и становится на эту точку зрения в полном, очевидно, убеждении, что она совершенно согласуется с мыслью Михайловского. Старец Макар Долгорукий, когда Аркадий излагает ему «коммунистическое учение», потому и испытывает такой восторг, «почти потрясение», что «социализм совпадает с некоторыми по крайней мере элементами народной русской правды». «Где? Как? Кто устроил? Кто сказал?» Подросток продолжает дальше рассказывать, а он, христианинствующий старец, «в умилении... повторяет к каждому слову: «так, так!»²¹¹

При коммунизме человек должен психологически измениться. Макар Долгорукий связывает это изменение с Христом: «То ли у Христа? «Поди и раздай твое богатство и стань всем слуга». И станешь богат паче прежнего в бесчетно раз; ибо не пищую только, не платьями ценными, не гордостью и ненавистью счастлив будешь, а умножившеюся бесчетно любовью... Тогда не будет ни сирот, ни нищих, ибо все мои, все родные, всех приобрел... И воссияет земля паче солнца, и не будет печали, ни воздыхания, а лишь единый бесценный рай». Подросток тут и восклицает: «Макар Иванович! да ведь вы коммунизм, решительный коммунизм, коли так, проповедуете!»

И тот же коммунизм, в плане уже человеческой истории, без Христа, проповедует и Версилов,²¹² тоже в своем роде «странник», вернее скигалец, «дейст, философский дейст, как вся наша тысяча»: «Я представляю себе, мой милый, что бой уже кончился и борьба улеглась. После проклятий, комьев грязи и свистков, настало затишье, и люди остались одни, как желали... Они тотчас же стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее;

они схватились бы за руки, понимая, что теперь лишь они одни составляют все друг для друга. . . Они возлюбили бы землю и жизнь неудержимо. Они просыпались бы и спешили бы целовать друг друга, торопясь любить. . . Они работали бы друг на друга и каждый отдавал бы всем все свое и тем одним был бы счастлив. Каждый ребенок знал бы и чувствовал, что всякий на земле — ему как отец и мать. . . Они были бы горды и смелы за себя, но сделались бы робкими друг за друга; каждый трепетал бы за жизнь и за счастье каждого. Они стали бы нежны друг к другу, и не стыдились бы того, как теперь, и ласкали бы друг друга, как дети. . .»

У деиста Версилова весь этот будущий коммунистический строй, этот новый человек, исходящий любовью к ближним, нарисованы на грустном фоне закатного солнца, «как бы последнего дня человечества». Русский же странник Макар Долгорукий вещает, что при осуществлении его коммунизма, по заветам Христа, «не будет ни печали, ни воздыхания, земля сама воссияет как солнце». Получается внутри же «Отечественных записок» полемика не только с Некрасовым, но и с Михайловским, так, как Достоевский его понимал: да, социализм не атеистичен; мечтает о будущем общечеловеческом счастье, стремится к нему и деист Версильов; социализм действительно «совпадает с некоторыми по крайней мере элементами народной русской правды», но ведь только с некоторыми, не с основой. Истинная «народная русская правда» только у старца, и только его путь осуществления коммунизма ведет человечество к полноте счастья.

А интеллигенция все-таки уже не «бесы», вошедшие в больное тело России. Двумя годами раньше было сказано про Герцена, что он-то и «выражает собою в самом ярком типе этот разрыв с народом огромного большинства нашего образованного сословия»; «истлели последние корни, расшатались последние связи» тех, кто мыслит по Герцену, с «русской почвой и с русской правдой». Теперь же «истинного носителя русской правды», Макара Долгорукого, лучше, глубже, полнее, чем кто-либо понимает, ценит и уважает именно Версильов, как мы знаем, согласный с идеями Герцена же.

И еще один момент, очень характерный.

В конце статьи Михайловского, как бы в виде итога, имеется такое обращение к Достоевскому, звучащее одно-

временно и упреком за прошлое и советом относительно будущих его романов, какой темой ему следует заняться: «Пока вы занимаетесь безумными и бесноватыми *citouen'*ами и народной правдой, на эту самую народную правду налетают, как коршуны, *citouen'*ы *благоразумные*, не беснующиеся, *мирные и смиренные*, и рвут ее с алчностью хищной птицы. . . Как! *Россия*, этот бесноватый больной, вами изображаемый, перепоясывается железными дорогами, усыпается фабриками и банками, — и в вашем романе нет ни одной черты из этого мира! Вы сосредоточиваете свое внимание на ничтожной горсти безумцев и негодяев! В вашем романе нет беса национального *богатства*, беса самого пространного и менее всякого другого знающего границы добра и зла. *Свиньи, одолеваемые этим бесом*, не бросятся, конечно, со скалы в море, нет, они будут похитрее ваших любимых героев. Если бы вы их заметили, они составили бы *украшение* вашего романа. Вы не за тех бесов ухватились. . . *Рисуйте* действительно нераскаянных грешников, рисуйте *фанатиков собственной персоны*. . . *богатства для богатства*. . .»

В «*Подростке*» призыв этот как бы услышан. Тема денег, «*богатства для богатства*» играет в романе исключительную роль. Достоевский, — должны были сказать современники, — и здесь, конечно, идет своим путем, «*психиатрическим*». Лишь мельком, в одном только месте, упоминается, что старый князь Сокольский участвовал в какой-то акционерной компании с каким-то Полетикой и на собраниях акционеров произносил шумные речи. Этих тоже *citouen'*ов, «*благоразумных, не беснующихся, мирных и смиренных*. . . *налетающих на народную правду, как коршуны, рвущих Россию с алчностью хищной птицы*», Достоевский, конечно, знает, но они для него люди слишком здоровые. С «*трагизмом подполья*» должны сочетаться его темы. И в другом совершенно освещении, психически крайне осложненном, должен быть показан главный герой, Подросток, этот «*фанатик собственной персоны*», *одолеваемый бесом «богатства для богатства»*; Ротшильд лишается своей конкретности, становится как бы «*чистой идеей*». А герои, с душевной организацией попроще, сниженные до уровня уголовных преступников, служат для этой «*чистой идеи*» фоном. Так получает в романе свой особый смысл роль Ламберта с его шайкой шантажистов, касса ссуд *Mont de piété* Стебелькова и соучастие с ним князя

Серези в подделке фальшивых акций, история строгой, с характером «в размерах игуменьи Митрофании», Анны Версиловой, за княжеский титул и богатство продающей себя полоумному старику Сокольскому, и самая основа интриги вокруг письма Ахмаковой к Андронникову об опеке над ее отцом. Все это отражения того же самого всемогущего беса «богатства», о котором говорит и Михайловский.

И вот по этому-то пути и пошла радикальная критика в лице Ткачева: по пути выяснения тех условий, которые неминуемо должны были породить все эти уродливые явления. Точно критика и ставила своей главной задачей: выяснить, насколько Достоевский, при всем своеобразии его таланта, правильно разработал тему, указанную ему Михайловским.

Ткачев написал две большие статьи и о «Бесах». ²¹³ В них он настолько возмущен реакционными идеями романа, что ставит Достоевского рядом с самой одной фигурой в литературе того времени, со Стебницким (Лесковым), называет его несколько раз ренегатом, его талант считает почти ничтожным. В статье ²¹⁴ же о «Подростке» совершенно иное. И, прежде всего, самый тон. Подобно Михайловскому, Ткачев тоже начинает с того, что Достоевский «бесспорно крупный талант»; сила его психологического анализа так велика, что «лишь очень немногие из современных художников, и не только русских, умеют так глубоко заглядывать в человеческую душу». «Правда, — говорит Ткачев, — он — писатель односторонний, людей он рисует всегда на грани ненормального и всегда преувеличивает их душевные переживания. Поэтому никогда почти не получается от его произведений истинно эстетического удовольствия. Но это не такой уже недостаток. Написал же Добролюбов свою статью о «Забитых людях», весьма сочувственную, хотя и признал в ней талант Достоевского «ниже критики».

Эта ссылка на Добролюбова особенно характерна. Ткачев считает себя его последователем; так и заявляет, что «наша критика и не претендует на эпитет «эстетической»! «Как живописует автор — этот вопрос для нас не особенно существен. Для нас несравненно важнее вопрос, что он живописует и представляет ли или не представляет это что какой-нибудь общественный интерес». Метода добролюбовской критики он и достаивает роман «Подросток».

И не только один «Подросток», а все произведения Достоевского ценны с «точки зрения общественного интереса», все они «представляют весьма благодарный и весьма обильный материал... для характеристики целого типа... живых, конкретных характеров», понимание которых «значительно облегчается» именно благодаря конкретному недостатку автора, его манере всегда «утрировать» душевные состояния героя, выставлять их на первый план».

По Ткачеву «Подросток» есть живой, конкретный образ, принадлежащий к той же социальной группе, из которой Достоевский обычно берет своих героев; последняя вариация, соответственно новым условиям общественной жизни, того же типа «забитых людей», «о которых так хорошо говорил Добролюбов». И следует цитата из Добролюбова об этих «забитых людях»: «Мы нашли, что забитых, униженных и оскорбленных личностей у нас много в среднем классе, что им тяжело в нравственном и физическом смысле, что, несмотря на наружное примирение с своим положением, они чувствуют его горечь, готовы на раздражение и протест, жаждут выхода».

Это — последняя вариация, или, как говорит Ткачев, «последняя категория «забитых», наиболее развитая их часть, которая «поняла наконец, что сколько там ни ворчи и ни злись, а легче от этого не будет. Но примириться с своим положением тоже невозможно, а выбиться из него еще невозможней». И вот они «стали задумываться, работала напряженно мысль, нарастали разные идеи, отвлекающие от будничной практической деятельности, уносящие в область отвлеченных идеалов». Были раньше «забитые люди» — «приниженные» и «ожесточенные». Теперь появились новые «забитые люди» — «идейные». В этом и заключается типическое значение Подростка.

Роман поднимается в цене так высоко, что он кажется даже лучше «Преступления и наказания», где тоже выведен герой из «идейных забитых людей». В «Преступлении и наказании» анализ души этого идейного героя «крайне односторонен и не полон», в «Подростке» же «он достигает той глубины, той обстоятельности и той сравнительной объективности, благодаря которым автору так хорошо удалось воспроизвести в прежних своих произведениях господствующее настроение забитых людей двух первых категорий — людей приниженных и ожесточенных». И последний вывод: «Роман «Подросток» г. Достоевского имеет

почти такое же значение для оценки идейных забытых людей, какой имел его первый роман («Бедные люди») для оценки людей типа Девушкиных, Голядкиных и им подобных». И «вот почему критика, не вполне еще забывшая свое прошлое, критика, оставшаяся верной своим принципам и не утратившая сознания своих обязанностей и своих задач», — разумеется, конечно, критика, идущая по следам Белинского, Чернышевского и Добролюбова, — «должна отнестись к этому роману с особенным вниманием».

Нет надобности останавливаться здесь подробно на том, как Ткачев объясняет душевный строй Подростка условиями его жизни с ранних лет и той средой, в которой ему приходилось действовать. Ход мысли Ткачева совершенно ясен: во всем виновато положение незаконно-рожденного, скверное воспитание в пансионе Тушара и позднее, в Петербурге, окружающие люди, порочные и преступные, стремившиеся к одной только цели: разбогатеть во что бы то ни стало. Отсюда и сама идея «стать Ротшильдом», и способы ее осуществления, и странная мечта о том, что, разбогатея, как Ротшильд, он останется тем же «забытым»: «с меня довольно сего сознания». Все это очень элементарно, но важна именно та перемена, — пусть, правда, только на короткое время, — которая произошла в радикальном лагере, та общая высокая оценка, которая дается Ткачевым почти всему творчеству Достоевского и роману «Подросток» в частности.

В этом отношении еще характернее статья Скабичевского²¹⁵ «О г. Достоевском вообще и о романе его «Подросток». Достоевский ему кажется писателем, в котором сидят два художника, «два двойника: один из них крайне нервно-раздражен, желчный экзатик и к тому же резонер», впадает в самый безнадежный, мрачный скептицизм или в «мистический бред не то в славянофильском духе, не то в духе переписки с друзьями Гоголя». Этот двойник смотрит на весь мир, как на дом сумасшедших, и в «подобном Бедламе у него нет друзей своих»: он скептически относится ко всем молодым побегам жизни, опошляет и окарικатуривает их и в то же время «самыми злыми сарказмами осыпает и людей своего поколения, беспощадно изображая их в таком жалком и безобразном виде, в каком не изображали этих людей самые их заклятые обличители». Это, конечно, оценка «Бесов». Скабичевский не забывает ни на минуту их реакционной идеологии и казнит

автора тем, что говорит о нем, когда он в роли этого двойника, как о писателе «крайне небрежном, иногда выказывающем и поразительную неумелость: целые сцены и главы... поражают вас своей фантастической необычностью, точно действие происходит не в той среде, в которой вы живете, а на какой-то иной планете, в иных фантазмагорических условиях».

Но рядом с этим скверным двойником «существует другой, совершенно противоположных свойств: это *гениальный* писатель, которого следует поставить не только в одном ряду с первостепенными русскими художниками, но и в числе самых *первейших гениев* Европы нынешнего столетия». Этот писатель, «в противоположность своему нервному, желчному собрату», знает то высокое *объективное* спокойствие, «какое присуще только *гениям первой величины*». Он наивен и прост, но это «*наивность и простота гения*. Его значение *общечеловеческое*, но в то же время он *вполне народен*, — народен не в том вульгарном значении этого слова, чтобы хорошо изображать мужиков, но в *высшем смысле усвоения существенных черт духа и характера русского народа*. . .»

Скабичевский — критик, на слова не очень воздержанный, Короленко называет его «простовато прямолинейным». Да и кроме того, деятельность этого второго гениального двойника Достоевского сам Скабичевский тоже видит только в размерах небольших: в двух-трех эпизодах, «не имеющих иногда никакой связи с общим развитием романа или же в двух-трех сценах в самом эпизоде». И все же: гений, равный «первейшим гениям Европы», *гений первой величины*, со значением «*общечеловеческим*» и в то же время «*вполне народный*» — слова эти сказаны после «Подростка» и именно в связи с «Подростком».

Я ограничиваюсь здесь высказыванием о «Подростке» только этих двух критиков: Ткачева и Скабичевского. Об этом романе писали тогда вообще сравнительно очень мало. Появлялись кое-какие статьи в провинциальной прессе: в «Киевском телеграфе»,²¹⁶ в «Новороссийском телеграфе»,²¹⁷ в «Тифлисском вестнике»²¹⁸ или в таких мало влиятельных органах петербургских, как «Детский сад»,²¹⁹ «Пчела»²²⁰ и «Новости»²²¹ первой редакции (до Нотовича), — все это были отголоски более авторитетным критикам из консервативного или либерально-радикального лагеря, установившим свои взгляды на творчество

Достоевского на основании его предыдущих произведений. Новостью прозвучали, как вестники какой-то перемены, именно эти две статьи критиков, наиболее авторитетных да еще таких, от которых надо было ожидать гораздо больше предубежденности по отношению к автору «Бесов». Этого не случилось: «Подросток» был воспринят как роман, который, если в целом ряде пунктов и не сходится с их убеждениями или противоречит им, то во многом к ним приближается и даже граничит с ними.

Ткачев и Скабичевский вещали об этом пространно. Но в том же духе высказался, вскользь, и Н. К. Михайловский еще в самом начале печатания «Подростка», когда, как у нас было выше указано, в литературных кругах стали посмеиваться над «Отечественными записками», пригласившими к себе в сотрудники Достоевского, вчера еще редактора «Гражданина». «Журнал, — заявил тогда Михайловский, — не стал бы печатать роман, если бы он сильно расходился с убеждениями редакции». И эта же мысль была еще сильнее подчеркнута им во вступлении к циклу статей «В пережку», в том, как искусно использовано письмо воспитателя Подростка Николая Семеновича в финале романа.

Николай Семенович «болсет сердцем» о «красивом типе» старого русского дворянства и даже уверен, что нигде, кроме как «среди культурных русских людей не существуют законченные формы чести и долга». Михайловский, конечно, понимал, что Достоевскому нужно было это «боление сердцем» Николая Семеновича, чтобы заувалировать, хотя и достаточно прозрачно, свое отрицательное отношение ко всей дворянской литературе, в частности к «самому великолепному ее слову» у Льва Толстого. Но «Заурядные читатели» отождествляют с Николаем Семеновичем самого автора: «будто его устами говорит сам Достоевский».

«Это, конечно, совсем пустяки, — заявляет Михайловский: — г. Достоевский не такого закала человек, чтобы быстро менять свои взгляды... Николай Семенович и г. Достоевский — два совсем разные лица. Николай Семенович — просто преданный дворовый, признающий только за бариним «право на честь и долг»; мы, холопы, «и так проживем в бесчестии, вам любуючись, на вас глазом отдыхаючи». А г. Достоевский может быть даже согласится со мной, что мы, дворяне, недавно только *начали*,

то-есть начали выработать формы чести и долга и начали именно покаянием».

«Покаянис», новый тип дворянина, «кающегося», резко порывающего со своим прошлым, и противопоставляется в статьях «В перемежку» старому типу «родовых дворян», ведущих «свое происхождение от килзей Темкиных или от самого Владимира Святого», жестоких и бесчестных, лишенных, прежде всего, именно чувства долга. То, что рассказывает Михайловским об образе жизни этих «культурных русских людей» из «родовитых семейств», могло бы полностью войти в состав романа «Подросток» как яркая иллюстрация того «безобразия» московского и петербургского «средне-высшего круга», от которого спасение только в «благообразии» странника из крестьян Макара Долгорукого. У Михайловского на это прямое указание в словах: «Достоевский еще очень недавно чрезвычайно энергически заявлял, что «Власы спасут себя и нас». У спасителей должны же быть определенные формы чести и долга». Роман так весь и построен, что истинный идеал чести и долга — в страннике Макаре и крестьянке, матери Подростка, Софье Ивановне.

XXVI

Мы считали бы нашу работу «В лаборатории Достоевского» на основании черновых записей к «Подростку» законченной, если б не надо было предупредить некоторые могущие возникнуть недоразумения, исправить ту историческую aberrацию, которая может получиться на основании высказываний наиболее авторитетных критиков того времени.

Радикальная критика, как мы видели, сосредоточила свое главное внимание на тех местах романа, где Достоевский показал, что «лик мира сего ему самому тоже очень не нравится», и мало коснулась «основы» убеждений Достоевского, его «направления», про которое еще до того, как роман стал печататься, он твердо сказал себе: «Хоть бы пришлось милостыню просить, я не уступлю в направлении ни строчки».²²¹

Моральное и умственное разложение «высших кругов общества», так, как оно дано в лице князей Сокольских старшего и младшего и их окружения; противопоставление этим высшим кругам людей из народа, нравственно чистых

и крепких в своей исконной народной правде; плач по Европе, над которой тогда, после Франко-прусской войны, «особенно слышался как бы звон похоронного колокола»; мечта о счастливом будущем, ожидающем человечество в финале его истории, «когда бой уже кончится, уляжется борьба и настанет затишье»; роль русского народа в осуществлении этой высокой мечты, его «миссия» — все это действительно, казалось, не противоречило, по крайней мере в главном, духу журнала, во главе которого стояли Некрасов и Салтыков-Щедрин.

Правда, отношение к долгошникам в первой части романа, тем более ряд моментов в освещении двух последних тем, разработанных в третьей части, не могли быть приемлемыми для представителей радикальной мысли, но покоряла, очевидно, сила художника, проявившаяся в первых двух темах, как и во вставном трагическом эпизоде с гувернанткой Олей, символизирующей собою, своей судьбой, безысходное горе и несчастье нищих городских масс.

Так, заслуживает полного доверия рассказ Достоевского²²² о том, как Некрасов, по прочтении первой части «Подростка», пришел к нему, «чтобы выразить свой восторг: всю ночь сидел, читал, до того завлекся, а в мои лета и с моим здоровьем не позволил бы этого себе... И какая, батюшка, у вас свежесть! Такой свежести, в наши лета, уже не бывает и нет ни у одного писателя. У Льва Толстого в последнем романе («Анне Карениной») лишь повторение того, что я и прежде у него же читал, только в прежнем лучшем». Сцену самоубийства Некрасов находил «верхом совершенства».

У Достоевского все эти слова были взяты в кавычки, как доподлинные слова Некрасова. И не только один Некрасов был в восторге, а вся, повидимому, редакция «Отечественных записок». «Одним словом, — пишет Достоевский дальше, — в результате мною в «Отечественных записках» дорожат чрезмерно, и Некрасов хочет начать совсем дружеские отношения».

Во второй части романа начинают мелькать мысли явно «подозрительные», как, например, рассуждение Версилова с молодым князем Сокольским о чести и долге старого дворянства. Хотя, как говорит Подросток, «Версиров дальше поправился»: дворянство, с точки зрения чести и долга, им вовсе отрицается, «дворянство у нас, может

быть, никогда и не существовало», — это все же не позиция «Отечественных записок». Но их заслоняет все та же тема об умственном и нравственном разложении высших кругов общества, разработанная здесь особенно подробно, осложненная еще темой о растлевающем воздействии этих кругов на «милого и чистого сердцем» Подростка, Аркадия Долгорукого.

Так стала обнаруживаться особенно явно сущность «направления» писателя только с третьей части романа, с того момента, когда появляется уже в Петербурге его «положительно прекрасный человек», странник, радующийся во Христе всему миру, — «расти божья травка, расти дитя», — Макар Долгорукий.

Выше, в главе XV были подробно показаны те специфические черты, которыми обрисован этот странник, носитель народной правды, в отличие от других говорящих «от писания» героев Достоевского — «архиерея на спокое» в «Бесах» и старца Зосимы в «Братьях Карамазовых», и как связан он с Власом Некрасова. Мы говорили там, что странник — «бродяжка», крестьянин, тот же Влас, но психологически и идейно совершенно иначе осмысленный, перенесенный из узкой и тесной сферы угрюмой сосредоточенности на широкий простор всепрятия «живой жизни» и любви ко всем и ко всему; это, конечно, полемика с революционной демократией, тем более острая, принципиальная, при всей мягкости тона, что в общей концепции романа, с точки зрения идеологической, значение Макара, — как нами было уже указано, — решающее. Он — так же, как Платон Каратаев в «Войне и мире» — тоже выражает собой тот дух пассивности, непротивленства, который составлял одну из самых слабых и консервативных сторон мировоззрения Толстого.

Воплощенный идеал «благообразия», к которому стремится Подросток, «самое милое существо в романе», — Макар Долгорукий, по мысли автора, возвышается над всеми относительными человеческими нормами добра и зла. В нем одном, в его радостном восприятии мира — истинный источник жизни и постижения — не «глупым умом», а «умным сердцем» — правды на земле. И в свете этого идеала иное совершенно значение получают все идеи, раскрывающиеся в романе: они становятся частными и узкими, пути к их осуществлению — неверными. Макар, в сущности, и есть единственный «нормальный человек».

Им, его началом проникнута и высокая мысль «всечеловека» Версилова, который «был тогда в Европе единственным европейцем» и мог в одно и то же время «сказать петролейщикам в глаза, что их Тюильри — ошибка», а консерваторам, отмстителям, что «Тюильри — хоть и преступление, но все же логика», — только он один, как русский, «как носитель высшей русской культурной мысли», имел на это нравственное право, ибо «высшая русская мысль есть всепримирение идей».

И грустью вечернего заката окутана мечта-утопия Версилова о последнем счастливом дне человечества, когда люди вдруг поймут, что «они остались совсем одни, и разом почувствуют великое сиротство», оттого что «великая прежняя идея оставила их», идея Христа: «великий источник сил, до сих пор питавший и гревший их, отходил». И кончал Версилов всегда свою утопическую картину о перерожденном во всезахватывающей любви человечестве видением, как у Гейне, «Христа на Балтийском море».

Да, Достоевский действительно хотел оставаться и остался верным своим убеждениям, своему «направлению». И все же «Подросток», печатавшийся в «Отечественных записках» занимает безусловно особое место в цикле его романов второго периода, несмотря на всю его антиреволюционность, на его проповедь «внутренней свободы» как единственного средства изменения «лика мира сего».

Этот «лик» показан в «Подростке» во всей своей уродливости, и в этом первая великая ценность романа, так подкупившая радикальную критику того времени. И второе — ни в одном из предыдущих произведений Достоевского вопросы общечеловеческие, переустройства мира на началах действительной правды и справедливости, не ставились с такой широтой, как в этом романе.

ПРИМЕЧАНИЯ

Книга, ставящая своей задачей изучение творческого метода Ф. М. Достоевского на основании рукописных материалов к роману «Подросток», состоит из следующих глав, содержание которых, для удобства читателей, здесь раскрывается:

Глава первая. Черновые записи к роману «Подросток». Их значение для изучения творческого метода Достоевского.

Глава вторая. В поисках сюжета. Первоначальная связь замысла романа с неосуществленной поэмой «Житие великого грешника».

Глава третья. Попытка использовать для сюжета материалы из газет. Появление образа «хищного типа», будущего Версилова в связи с романом Е. Салиас «Пугачевцы» и с напечатанной главой из «Бесов» — «Исповедь Ставрогина».

Глава четвертая. Первоначальная идеологическая основа характера будущего Версилова. Осложнение образа в связи со старым замыслом об «Атеизме».

Глава пятая. Появление в качестве «положительного героя» атеиста, верующего в социальное преобразование человечества. Противопоставление его «хищному типу», ничему не верующему, будущему Версиллову.

Глава шестая. Связь замысла романа «Подросток» с предшествующими романами: с «Идиотом» и «Преступлением и наказанием». Зарождение во время работы над «Подростком» сюжетной схемы и идейно-психологической основы «Братьев Карамазовых».

Глава седьмая. Дальнейшая работа над образом Версилова. Появление в строящемся сюжете будущих второстепенных лиц романа.

Глава восьмая. Использование в романе фактов из биографии Некрасова, в своеобразной авторской интерпретации, для образа Подростка Аркадия Долгорукого.

Глава девятая. Колебания в строении сюжета. Колебания в характеристике второстепенных лиц романа.

Глава десятая. Современные социальные идеи в связи с образом Подростка Аркадия Долгорукого. Попытка использовать в качестве прототипа одного из самых активных петрашевцев, Спешнева.

Глава одиннадцатая. Политический процесс долгушинцев в черновых записях романа и в окончательном тексте. Искажение идеологической основы революционной деятельности долгушинцев.

Глава двенадцатая. В поисках «формы». Формы «от Я». Положительные и отрицательные стороны формы «Исповеди». Искание опоры в «Повестях Белкина» Пушкина, в «Исповеди» Руссо и в «Давиде Копперфильде» Диккенса.

Глава тринадцатая. Использование некоторых фактов из жизни и идеологии Герцена в дальнейшей разработке образа Версилова. Искаженная интерпретация образа Герцена по книге Н. Страхова «Борьба с Западом».

Глава четырнадцатая. Первое «Философическое письмо» Чаадаева и факты из его биографии в дальнейшей обрисовке образа Версилова.

Глава пятнадцатая. Появление образа странника из крестьян, Макара Долгорукого, как идейной вершины романа. Макара Долгорукий и «Влас» Некрасова. Полемика внутри «Отечественных записок» с идеологией журнала.

Глава шестнадцатая. Симптомы разложения современного общества как материал для социального фона романа. Факты из газетной и журнальной хроники.

Глава семнадцатая. Уголовный процесс поддельщиков фальшивых железнодорожных акций и использование его в романе для образа Стебелькова и молодого князя Соколовского.

Глава восемнадцатая. Использование в романе судебного дела офицера Колемина, содержателя игорного дома, для биографии Подростка Аркадия Долгорукого.

Глава девятнадцатая. Использование в романе, в целях борьбы с дворянской реакцией, газетно-журнального материала по поводу царского рескрипта с призывом к дворянству «стать на страже народной школы».

Глава двадцатая. Отражение в романе материала на тему о стремлении некоторых групп молодежи в Америку.

Главы двадцать первая — двадцать третья. Использование для лиц второстепенных в романе фактов из личной биографии и биографии родных и знакомых: Е. П. Ивановой, богатого родственника Куманина, Надежды Прокофьевны Сусловой, сибирского приятеля Валиханова, экономки больницы на Божедомке Маркуса и др.

Глава двадцать четвертая. Достоевский о своей литературной позиции в черновых записях и в окончательном тексте.

Глава двадцать пятая. Роман «Подросток» как ответ на критику Н. К. Михайловского по поводу «Бесов» и «Дневника писателя» в «Гражданине». Отношение радикальной критики к Достоевскому середины 70-х гг., в частности к роману «Подросток».

Глава двадцать шестая. Итоги.

1. Из архива Ф. М. Достоевского. Преступление и наказание. Неизданные материалы. Подготовка к печати И. И. Гливенко. ГИХЛ, 1931.

2. Записные тетради Ф. М. Достоевского. Подготовка к печати Е. Н. Кошниковой. Изд. «Асл.спид», 1935.

3. Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования, ред. А. С. Долинина. Изд. Академии Наук, Ленинград, 1935.

4. См. письмо Достоевского к А. А. Краевскому от 8 июня 1865 г. и письмо к М. Н. Каткову первой половины сентября того же года, т. I Писем, стр. 408—409, 417—421, 579, 581—582.
5. Всего опубликованы четыре записных тетради; черновики к «Бесам», занимая в них преобладающее место, печатаются вперемежку с другими записями, не имеющими отношения к роману.
6. «Идиот». Неизданные материалы из архива Ф. М. Достоевского. Под ред. П. Н. Сакулина. Госиздат. 1931.
7. Последние главы романа напечатаны в декабрьской книжке «Отечественных записок» 1875 г., 22 же декабря было подано Достоевским прошение об издании «Дневника писателя»; см. «Новое время» № 3204.
8. Собр. соч. Достоевского. Госиздат, т. II, стр. 147.
9. См. «Записные тетради» Ф. М. Достоевского. Изд. «Academia», 1935, стр. 96: «20/8 декабря «Житие великого грешника», и дальше идут записи к «Житию».
10. См. об этом подробно в предисловии к первому тому Писем Достоевского под моей редакцией, стр. 19—26.
11. См. вышеуказанные «Записные тетради», стр. 96, 107.
12. Н. К. Михайловский. «Литературные воспоминания и современная смута». Петербург, 1900, стр. 199—200.
13. Собр. соч. Ф. М. Достоевского. Госиздат, т. 8, стр. 393.
14. Там же, т. 7, стр. 555—586 (Приложение).
15. Собр. соч. Достоевского. Юбилейное издание, т. XI, 1906, приложение к «Бесам»; а также сб. «Свиток» № 1—Материалы к «Бесам»; см. еще мою статью «Исповедь Ставрогина» в сб. «Литературная мысль», изд. «Мысль», 1923.
16. Первое письмо к жене из Эмса от 15 июня 1874 г. см. т. III Писем Достоевского под моей редакцией, стр. 101—106.
17. Письма Достоевского, т. II, стр. 150—151.
18. Собр. соч. Достоевского. Изд. «Просвещение», т. 10, стр. 113—114.
19. Собр. соч. Достоевского. Госиздат, т. 9, стр. 231.
20. Там же, т. 7, стр. 561.
21. Сен-Симон, Каба, П. Леру, Фурье — все говорят о том, что они в своих учениях восстанавливают «истинное» христианство первых веков, не искаженное церковью.
22. Собр. соч. Достоевского. Госиздат, т. II, стр. 135.
23. См. мою статью в книге «Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования», под моей редакцией, изд. Академии Наук, 1935.
24. Собр. соч. Достоевского. Госиздат, т. 9, стр. 244—260.
25. Там же, стр. 48—54, 314—315 и др.
26. Воспоминания А. Г. Достоевской, ред. Л. Гроссмана, стр. 267.
27. См. мое предисловие к 1-му тому Писем Достоевского под моей редакцией.
28. Собр. соч. Достоевского. Госиздат, т. 5, стр. 444—445
29. Письма Достоевского, т. II, стр. 71.
30. Там же, стр. 261.
31. Собр. соч. Достоевского. Госиздат, т. 12, стр. 347.
32. Письма Достоевского, т. I, стр. 179.
33. Собр. соч. Достоевского. Госиздат, т. 12, стр. 347.
34. Там же, стр. 348.
35. Письма Некрасова. Ред. В. Е. Евгеньева-Максимова. Госиздат, 1930, стр. 397.

36. «Литературное объяснение с Н. А. Некрасовым».
37. Собр. соч. Достоевского, т. II, стр. 75—76.
38. Письма Ф. М. Достоевского, т. II, стр. 79.
39. «Гражданин» 1873.
40. В «Гражданине», в одном из августовских номеров, напечатан пролог драмы Д. Д. Кишенского под заглавием «Падение».
41. Воспоминания А. Г. Достоевской, стр. 185.
42. Письма Достоевского, т. III, стр. 152.
43. Письма Некрасова. Ред. В. Е. Евгеньева-Максимова, стр. 553.
44. Письма Достоевского, т. III, стр. 152.
45. Воспоминания А. Г. Достоевской, стр. 201—202.
46. Собр. соч. Достоевского. Госиздат, т. 12, стр. 29.
47. См. «Ф. М. Достоевский» под моей редакцией, изд. Академии Наук, 1935, стр. 444.
48. Собр. соч. Достоевского. Госиздат, т. 12, стр. 348.
49. Там же, стр. 356—357.
50. Там же, стр. 347.
51. Собр. соч. Достоевского, т. 11, стр. 147—148.
52. Там же, т. 12, стр. 359.
53. Там же, стр. 350.
54. Собр. соч. Достоевского. Госиздат, т. 8, стр. 73.
55. Там же, т. 12, стр. 359.
56. Там же, т. 8, стр. 76—77.
57. Там же, т. 12, стр. 359.
58. Там же, т. 8, стр. 78.
59. Там же, стр. 82.
60. Там же, стр. 81—83.
61. Идея «Подростка» впервые формулирована в черновиках осенью 1874 г. Некролог Некрасова напечатан в декабрьском выпуске «Дневника писателя» 1877 г.
62. См. сб. «Звенья» № 6, изд. «Le demi», 1936. А. С. Долиннин. «Достоевский среди петрашевцев».
63. См. в названных газетах №№ за июль 1874 г.
64. Письма Достоевского, т. III, стр. 137—138.
65. «Правительственный вестник» 1871, № 205.
66. Собр. соч. Достоевского, т. 8, стр. 41—52.
67. Там же.
68. Там же.
69. Письма Достоевского, т. III, стр. 152.
70. «Антон Горемыка» напечатан в «Современнике» в 1847 г.
71. Сочинения Аполлона Григорьева. Ред. Н. Н. Страхова, П. 1876, статья «Народность и литература», 1861.
72. См. «Литературный архив» № 2, изд. Академии Наук, 1939. Статья А. С. Долиннина «Достоевский и Н. Н. Страхов» (Письмо Страхова от 12 апреля 1871 г.).
73. См. «Преступление и наказание». Неизданные материалы, первый вариант.
74. Собр. соч. Достоевского, т. 8, стр. 75.
75. «Исповедь». Перевод под ред. С. С. Трубашева. П. 1901, стр. 27—28.
76. Собр. соч. Достоевского, т. 8, стр. 101.
77. «Исповедь», стр. 29—30.
78. Там же, стр. 40—41, 87.

79. Там же, стр. 30.
80. Собр. соч. Достоевского, т. 8, стр. 212—213.
81. Ч. Диккенс. «Давид Копперфильд младший». Изд. А. Суворина, ч. I, стр. 123.
82. Там же.
83. Собр. соч. Достоевского, т. 8, стр. 370.
84. Н. Страхов. «Борьба с Западом в нашей литературе». П. 1882, стр. 1—144.
85. Письма Достоевского, т. II, стр. 259.
86. Там же, стр. 357.
87. См. мою статью «Герцен и Достоевский» в сб. «Достоевский», I, под моей редакцией, изд. «Мысль», П. 1922.
88. Собр. соч. Герцена. Ред. Лемке, т. V, стр. 293 и т. XIII, стр. 446—463.
89. Собр. соч. Достоевского, т. 8, стр. 391.
90. Страхов. «Борьба с Западом», стр. 84—87.
91. Собр. соч. Достоевского. Госиздат, т. 8, стр. 391.
92. Собр. соч. Герцена, т. V, стр. 386—391.
93. Там же, стр. 399.
94. Там же, стр. 394—395.
95. Там же.
96. Собр. соч. Достоевского, т. 8, стр. 392.
97. Там же.
98. Герцен, т. V, стр. 120.
99. Там же, стр. 110.
100. Н. Страхов. «Борьба с Западом», стр. 102.
101. Собр. соч. Достоевского, т. II, стр. 168—170.
102. «Русский вестник» 1862, ноябрь, стр. 99—100.
103. Статьи в «Вестнике Европы» в 1872—1873 гг.
104. Лонгинов. «Эпизод из жизни Чаадаева». «Русский архив» 1868, № 7—8. Там же, 1872, № 6 (Письмо Н. Тургеневу и др.).
105. Сочинения и письма П. Я. Чаадаева. Ред. М. Гершензона, т. II, стр. 215—231.
106. Там же.
107. Сб. «Достоевский», I, изд. «Мысль», 1923, А. Долинин, «Достоевский и Герцен».
108. Страхов. «Борьба с Западом», стр. 4.
109. Собр. соч. Достоевского, т. 4, стр. 56.
110. См. примеч. 107.
111. Там же, т. 7, стр. 8.
112. Письма Достоевского, т. II, стр. 264.
113. Собр. соч. Герцена, т. XIII, стр. 126—133 (О Чаадаеве).
114. Сочинения Чаадаева. Ред. Гершензона, т. II, стр. 109 и далее.
115. Там же, стр. 117.
116. Там же, стр. 111.
117. «Вестник Европы» 1871, кн. 7, стр. 180—181.
118. Собр. соч. Достоевского, т. 8, стр. 56.
119. «Вестник Европы» 1871, кн. 9, стр. 15.
120. Там же, кн. 2, стр. 328 (Письмо к Цинскому).
121. «Русский вестник» 1862, кн. 14, стр. 141—142.
122. Собр. соч. Достоевского, т. 8, стр. 32.
123. «Вестник Европы» 1871, кн. 7, стр. 188.
124. Собр. соч. Достоевского, т. 8, стр. 32.

125. Там же, т. 12, стр. 56—57.
126. Там же, т. 11, стр. 30—32.
127. Там же, т. 8, стр. 314—315.
128. Там же.
129. Там же.
130. Собр. соч. К. Леонтьева, т. 8, «Наши новые христьяне», стр. 151—217.
131. Собр. соч. Достоевского, т. 8, стр. 337.
132. Там же, т. 13, стр. 41.
133. «Русский мир» 1874, № 192.
134. Там же, № 210.
135. «Голос» 1874, № 240.
136. Там же, № 273.
137. Там же, № 309.
138. Там же, № 324.
139. Там же, № 335.
140. Там же, № 340.
141. Там же, № 212.
142. Собр. соч. Достоевского, т. 8, стр. 138—139.
143. См. судебный отчет в «Голосе», начиная с № 43, 1874 г.
144. Письма Достоевского, т. III, стр. 92—93.
145. Собр. соч. Достоевского, т. 8, стр. 124—125.
146. Там же, стр. 194, 198.
147. Там же, стр. 259, 261.
148. Там же, стр. 291.
149. Там же, стр. 198.
150. «Голос», №№ 120, 121, от 2 и 3 мая 1874 г.
151. Собр. соч. Достоевского, т. 8, стр. 240.
152. «Голос» 1874, стр. 313.
153. Собр. соч. Достоевского, т. 8, стр. 476.
154. В «Гражданине», № 43, от 28 октября 1874 г. дается портрет игуменьи Митрофании: «У нее лицо умное, энергическое, ясное и спокойное; она садится на кресло и как будто готовится слушать о ком-то интересный процесс».
155. Собр. соч. Достоевского, т. 8, стр. 181.
156. Собр. соч. Л. Н. Толстого. 10-е изд. М., 1897, ч. 9-я, стр. 256.
157. Там же, стр. 258—259 и дальше, ч. 10-я, стр. 16.
158. Рескрипт был опубликован во всех газетах, и сразу же началось его толкование в передовых статьях и в фельетонах.
159. «Московские ведомости» 1874, № 3.
160. Там же.
161. «Вестник Европы», 1874, февраль, стр. 844—856.
162. «Русский мир» 1874, № 194, от 18 июля.
163. «Гражданин» 1874, № 18.
164. Собр. соч. Достоевского, т. 8, стр. 185—187.
165. Там же, т. 7, стр. 115—116.
166. Там же, т. 7.
167. Там же, т. 11, стр. 423.
168. Воспоминания А. Г. Достоевского. Ред. Л. Гроссмана, стр. 85.
169. Там же, стр. 56.
170. «Вестник Европы» 1890, кн. 8, стр. 610—640.
171. Письма Достоевского, т. I, стр. 451—454.
172. Там же, стр. 456.

173. Собр. соч. Достоевского, т. 8, стр. 402.
174. М. В. Волоцкой: «Хроника рода Достоевских», изд. «Север», 1933.
175. Письма Достоевского, т. II, стр. 340.
176. Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского. Изд-во Писателей, Л., 1930, стр. 37.
177. Собр. соч. Достоевского, т. 8, стр. 22.
178. Из письма, хранящегося в Публичной библиотеке им. Ленина.
179. Собр. соч. Достоевского, т. 8, стр. 21.
180. Письма, т. I, стр. 200—202.
181. Там же, стр. 279.
182. «Сибирский вестник» 1866, № 3.
183. «Биография, письма и заметки из записной книжки». П., 1883, стр. 172—174.
184. О ней см. «Женский вестник» 1867, № 8 и Л. Ф. Змеев; «Русские врачи-писатели».
185. См. сб. «Достоевский», П., изд. «Мысль», 1924, мою работу «Достоевский и Сулова».
186. Письма Достоевского, т. I, стр. 403—405.
187. Там же, т. III, стр. 73, в письме от 1 января 1868.
188. Собр. соч. Достоевского, т. 8, стр. 217.
189. Письма Достоевского, т. I, стр. 364.
190. Там же, т. II, стр. 178.
191. См. М. В. Волоцкой. «Хроника рода Достоевских», изд. «Север», 1933, стр. 202—204.
192. Собр. соч. Достоевского, т. 8, стр. 173.
193. Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского. Изд-во Писателей, Л., 1930, стр. 31.
194. Письма Достоевского, т. III, стр. 264.
195. «Литературный архив», № 2. Изд. Академия Наук, Л., см. мою статью «Достоевский и Н. Н. Страхов», письмо Страхова от 12 апреля 1871 г.
196. Письма Достоевского, т. II, стр. 358.
197. Письма Достоевского, т. III, стр. 108.
198. Н. Н. Гусев. «Толстой в молодости». Изд. Толстовского музея, М., 1927, стр. 202.
199. Собр. соч. И. С. Тургенева, 6-е изд., П., 1913, т. X, стр. 172.
200. «Русский вестник», январь 1875.
201. «Русский мир», 1875, №№ 27, 55.
202. Письма Достоевского, т. III, стр. 148.
203. См. «Литературная мысль», I, изд. «Мысль» 1923, моя статья «Исповедь Ставрогина».
204. Собр. соч. Достоевского, т. 11, стр. 249—253.
205. Последние главы третьей части (IX—XIII) в декабрьской книжке «Отечественных записок» 1875 г.
206. Оглавление статьи «Попурри «Гражданина». Отчего г. Достоевский не пользуется темами, подходящими к его таланту, и берет неподходящие. — Комментарий к «Бесам». — Дневник писателя. — Власы и Dieu et du monde civilisé. — Тех ли и всех ли бесов нарицал г. Достоевский.
207. Собр. соч. Достоевского. Госиздат, т. II, стр. 6—11.
208. Там же, стр. 30—34.
209. Там же, стр. 55.

Там же, т. 13, стр. 449—450.

Там же, т. 8, стр. 326.

Там же, стр. 396—397.

П. Никитин. «Больные люди», «Дело» 1873, №№ 3 и

Никитин. «Литературное попури». «Дело» 1876. №№

«Биржевые ведомости» 1876, № 8, 35.

1876, № 6.

1875, № 43.

1876, № 197.

1876, № 9.

1876, № 1.

1876, №№ 51 и 65.

Письма Достоевского, т. III, стр. 152

Редактор Л. А. Плоткин.

Художник Г. Епифанов. Техн. редактор А. Кириарская. М 05935. Подписано к печати 26 VIII-47 г. Печ. л. 11. Уч.-изд. л. 11,6. А л 10,8. Тираж 10 000. Цена 7 р. 75 к. Заказ № 4. Типография № 3 Управления издательств и полиграфии Исполкома Ленгорсовета

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
15	9 св.	напечатанный	напечатанной
40	7 "	преувеличенное	преувеличение
45	3 сн.	портрет,	портрет Некрасова,
46	1 св.	отвлеченно	отвлечено
57	17 "	рядов пунктов	ряде пунктов
67	4 "	à 1 Пушкин	à 1а Пушкин
81	12 сн.	Философским	Философическим

А. С. Долинин „В творческой лаборатории Достоевского“

7 p. 75 K.

M
21-18

18